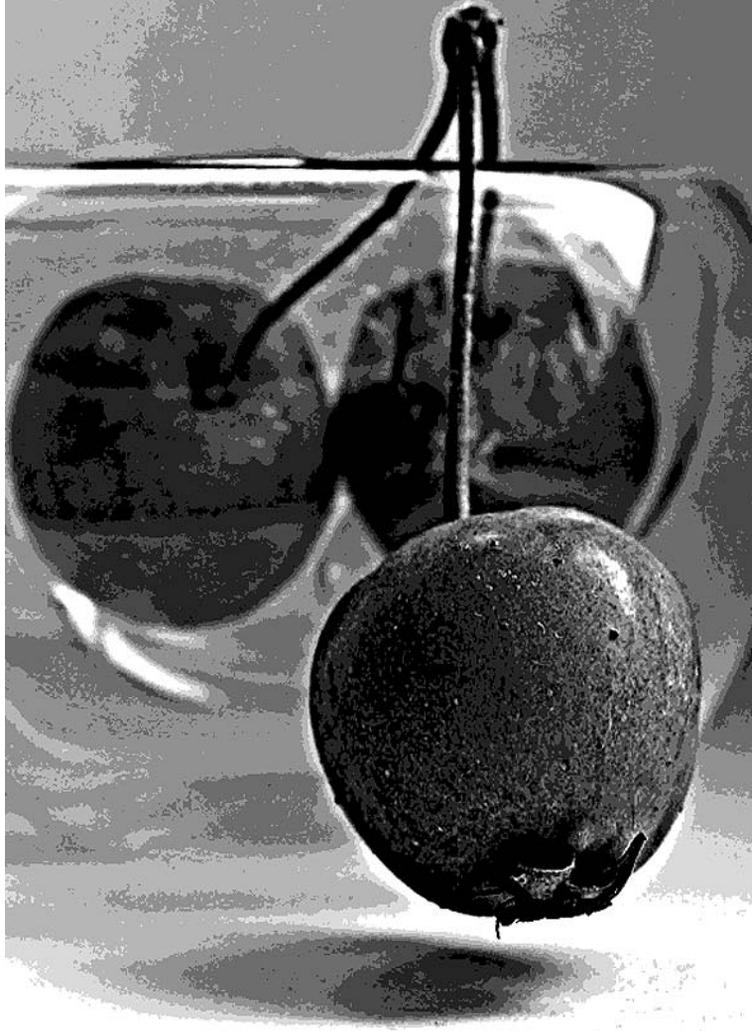


Наталья ЛАВРЕЦОВА

Пушкинские Горы



# ДВА ПОЭТА на земляничном пути

Есть у меня друг. Его зовут Селяныч. По-другому — поэт. А еще по-другому — Веня Полянский. Почему Полянский, понятно: живет в деревне Полянка. Ну а поэт — тоже объяснять не надо. А еще его зовут: «Прости, Париж». И это вовсе не потому, что он провел в Париже полжизни — отродясь он там не бывал. Просто так он объяснился в любви к здешним местам, написав свое epochальное стихотворение «Прости, Париж». В частности, там есть такая строчка:

*«Но мне полянскими холмами, прости, Париж, бродить милей».*

Бродить Селяныч любит. После того как мы, уже коллективно, пробродили с ним полгода — решили, следуя традициям поэтов серебряного века, создать общество «бродячих собак». И принимать в это общество таких же, как мы, бродячих.

Правда, мне, в отличие от Селяныча, бродить особенно некогда. У меня — дела. Я делаю эти дела дома на ноутбуке — и отправляю их по Интернету. Таким способом зарабатываю себе на хлеб. А Селяныч — пенсионер, поэтому может бродить сколько хочет.

Меня Селяныч чтит. Наверное, потому, что меня уже напечатали в нескольких толстых журналах.

Сначала Селяныч долго навязывал мне свою дружбу, от которой я спасалась как могла, — ну просто нападал на меня как саранча на необработанные поля.

Он так обрадовался, что после нескольких лет отсутствия я вновь поселилась в здешних местах, что эта радость начала принимать болезненные формы. К примеру, неудержимо принялся устраивать поэтические вечера всюду: в школе, библиотеке, училище, даже на лесной поляне, где в качестве «изюминки» подавал меня.

— Уж уважь, приди, пожалуйста. Окажи честь, когда ты еще появишься... — упорно топтался он на моем пороге.

После такой, до оскомины, сшибающей вежливости отказаться было практически невозможно.

Так, постепенно, я оказывалась порабощенной Селянычем. И так — в мою жизнь он вошел как поэт.

То есть как поэт — он вошел в нее не сразу. Воспринимала его я сначала больше как местного юродивого, относясь весьма снисходительно к его начинаниям. То он тащился на древнее городище с самоваром в руках и с фанатичной неизбежностью читать стихи везде и всюду, впереди колонны сомнительных воздыхателей, то устраивал эти самые вечера, на которые никто не приходил.

И все же... Его фанатичность делала свое дело: я все больше прислушивалась к его звучащим строчкам. Было в них что-то... Широта диапазона. Строй души. Образность. Он не закидывался на одной теме: писал про деревню, малые войны, свое сиротское детство, про любовь, конечно. Только очень уж необработанными были его стихи, корявыми какими-то. Но своим творчеством он довел меня до того, что однажды я сказала:

— Пожалуй, Селяныч, я отсюда не уеду, пока мы не сделаем тебе книжку.

Селяныч, конечно, обрадовался. Но совсем не тому, что, возможно, у него будет книжка. Скорее тому — что я отсюда не уеду. Поскольку книжки все равно не будет.

Так я связала сама себя чувством долга по отношению к Селянычу.

А надо сказать, что склеротик он был первостепенный — постоянно терял свою тетрадку, в которой мелким почерком зашифровывал свои вирши.

Ну что еще... Да, если интересует: возрастная разница между нами определялась примерно в одно поколение. То есть — в одну пятую часть века. Тем не менее Селяныч относился ко мне почти как к гуру. Учителю то есть. Согласитесь, приятно, особенно если учесть, что твой ученик на двадцать с лишним лет тебя старше.

Объяснять, надеюсь, не надо, что отношения у нас самые что ни на есть платонические. Тем более, Селяныч был человек семейный.

В семейной жизни Селянычу, можно сказать, повезло. Да, забыла сказать: к здешним аборигенам он имел отношения мало. Его сдуло с гор Тянь-Шаня, с горячего Ташкента, где он поглощал инжир, грыз белые семечки, моржевался и вместе с женой Любой, которую тогда еще звал Любанькой, — покорял горные вершины и пасся на альпийских лугах. Поэ-

том там его еще никто не называл, поскольку работал он тогда оперативным дежурным, проще сказать — ментом.

С некоторых пор в семейной жизни Селяныча произошла некоторая разбалансировка, определенным образом отразившаяся и на мне.

Произошла она тогда, когда его Любанька уехала к сыну нянчить народившегося внука. Селяныч на природе остался один и принялся действовать как поэт в поисках музыки. За этим занятием его и застала не вовремя появившаяся Любанька.

Разбалансировка длилась уже несколько лет, постепенно превращаясь в пожизненный мораторий. Селяныч вдруг вспомнил, что его жена Люба — еврейка. И когда вследствие семейных катаклизмов мирный Селяныч хватал лопату и с криками «бей жидов» носился за Любанькой по дому, выбивая из ее рук разделочную доску, она, не теряя времени, вызывала милицию. К счастью, их обоих там уже знали и только заставляли Селяныча приносить ей прилюдные извинения, ущемляя его мужское самолюбие.

— Ведь не сделал же я ей ничего плохого, только цыкнул, так, по-мужицки — она ведь мне этой доской чуть по голове не звезданула, — жалился Селяныч, привычно плетясь за мной по лесной тропе. — Стоит и доской этой передо мной все машет да машет. Ну цыкнул — а она в крик: «Убивают, убивают!»

Я слушаю Селяныча — деваться все равно некуда. Понимаю — высказаться надо, хотя жаловаться он не привык. Значит, ситуация — швах. Тем более час назад, при встрече, я выслушивала ту же версию в изложении Любаньки. «Ты поговори с ним, тебя он уважает, — просит Любанька. — Я уж не знаю, что с ним и делать!»

Я тоже уважаю их обоих. Но что с ними делать — не знаю тоже. Но чувствую себя порой членом их семьи. Следующим, после козы (о ней позже).

Теперь вы понимаете, почему их разбалансировка отразилась и на мне?

— Ехала бы она на свою историческую родину, что ли, — скрипит сзади Селяныч. — Ведь братья зовут.

— Да не хочет она, Селяныч. Ну какая из нее еврейка. Она без русской бани не может. Поделили бы вы дом, что ли, — советую я, помня просьбу — поговорить.

— Его не поделишь, — вздыхает он.

Дом Селяныч построил честно — собственными руками.

Иногда мне кажется, что им даже нравится так доставать друг друга.

— Кажется, у Честертона есть такая повесть, психологическая, «Кот» называется, — вспоминаю я. — Про пожилую супружескую пару. Как они с утра до вечера пытались досадить друг другу. Не разговаривали, записки писали. А потом, когда расстались, — выяснилось, что один без другого жить не могут.

— Не тот случай, — вздыхает Селяныч.

Любаньку, несмотря ни на что, он ценит и уважает — за прошлое. Но в настоящем — кричит ей: «Бей жидов», бегаёт с лопатой, а она сдает его в милицию.

Такая вот семейная жизнь у Селяныча.

Да, коза. В доме у Селяныча существовала и еще одна женщина.

Козу он любил. Коза выстукивала кокетливыми ножками по его запущенному хозяйству, путаясь в разрушенных теплицах, а Селяныч доил ее собственноручно утром и вечером.

Селяныч был поэт доящий. Выше поэзии стояла только коза. Он даже убежал с поэтических тусовок, не выпив традиционную чашку кофе, только потому, что козу пора было доить. Коза брыкалась, норовя лягнуть кокетливой ножкой, не допуская к себе и восполняя в его жизни недостаток женщины. Тем более, козий продукт был почти единственным питанием его, отлученного от семейных обедов. Если не считать ежемесячных посылок из Израиля, которые присылали Любаньке ее заботливые братья и которыми Селяныч, несмотря на свои антисемитские настроения, не пренебрегал.

Итак: Селяныч — поэт, его жена — еврейка, коза — русская, коренная уроженка деревни Полянка. Теперь вам все понятно про Селяныча?

Утром он доит козу, днем ссорится с женой-еврейкой, вечером идет бродить. Набредает на меня.

Теперь — я. Ну что про меня? Даже не знаю. Наверное, раз меня чтит Селяныч — во мне что-то есть. Но уж свою биографию я рассказывать не буду. А если про что догадаетесь — воля ваша.

Ну а теперь... про ту историю, которая с нами и приключилась.

Сто раз я ходила мимо деревни Полянка, вернее, наверное, тыщу — и не было в ней для меня ни ровню ничего особенного. Ну разве что дом Селяныча, в который я практически не заходила — «бродили» мы на территориях нейтральных.

Но вот однажды... Проходя по шоссе — заметила вдруг: прямо у дороги, под старой липой кто-то поставил скамеечку. Милая такая скамеечка — беленькая, ну прямо садись и отдыхай.

Ну — обратила внимание — и пошла себе дальше. Видела, конечно, проходя, и жителей. Жители как жители — местные. Были, правда, и приезжие на летнее время — с машинами и без машин, толстые и тонкие, одним словом — жители. Все на одно лицо. То, что я хотела бы разглядеть — в природе не существовало. Уже — не существовало. Тем более — здесь.

Через какое-то время, опять же проходя — увидела снова: рядом со скамеечкой вырос столик. Тоже — беленький, аккуратненький.

Это уже удивило. Так душевно смотрелся этот дуэт под старой липой, что подумалось невольно: такое сделал — и не поэт? Так увидеть, точно вписав в живопись природы, — мог, на мой взгляд, только поэт. Те, которые не поэты, конечно, тоже могли поставить и столик, и скамеечку — но — на своем участке. Этот же стоял за пределами забора, просто — у дороги.

«Чудеса, — подумала я. — Такое — и не поэт?»

Но я точно знала: в деревне Полянка поэтов нет. Конечно, кроме Селяныча. Но Селяныч жил далеко в стороне.

«Не удивительно, если в следующий раз на этом столике окажется скатерть-самобранка».

И действительно, казалось, появиться здесь может все что угодно: например, кувшин с квасом. Или даже с джином. Или, к примеру, чашка кофе...

Но в следующий раз...

Нет, это не был кувшин с джином.

Скорее — это был джинн сам по себе.

Но еще раньше чем взглянула... Вздригнуло что-то: ведь — не существовало же! Не должно существовать. В природе не предусматривалось.

Но — эта фигура... Легкая посадка торса на узкие бедра... Развернутые плечи.

Что это? Где видела? Растрепанные ветром волосы. Неспешные, размеренные движения...

Парень стоял за забором, держа в руках маленький топорик, что-то там делал.

Откуда он, здесь, этот, почти инопланетянин? Среди жителей деревни такого нет — я знала это точно. Нет такого, на которого хотелось хотя бы просто обратить внимание. Унылые, раньше времени выцветшие лица, затаженные, обрюзгшие фигуры...

Но этот... Тоненький кипарис в березовой аллее, с точеной фигуркой олимпийского бога — с каких небес он спустился, с каких высот?

Парень был сосредоточен, занят делом.

Взгляд невольно качнулся в сторону дома. Маленький домик, прильнувший к дороге...

Возле раскрытых дверей на лавочке сидела девушка. В лице ее была отрешенность. Она сидела, поджав ноги под себя, в позе лотоса, будто занималась йогой. И поза, и лицо ее тоже казались странными. Нетипичными. Тем более для этого места.

Почему-то вдруг мелькнула мысль о неслучайности происходящего. О божественной закономерности случая. Говорят «случай — инкогнито Господа Бога».

«Ну, допустим, ну, увидела? Ну и что?»

Парень продолжал колотить топориком, вбивая колышки... Поющий тростник с растрепанной челкой. Поднял глаза...

Тормозящие ноги надо быстрее заставить пройти мимо.

А дома — Селяныч.

— А я тебя жду. По делу я, Настюшка. Завелся, понимаешь, у нас в деревне один поэт. Хочет стихи показать. А я — что? Я не понимаю, — делал он придурковатое лицо. — Ты у нас — профессионал. Вот если бы посмотрела, а?

— Селяныч, ты что — враг мне? Пощади! Я приехала пожить в тишине, поработать. Да и понимаешь ты не меньше меня.

— Нет! — помолотил он руками в воздухе. — Я не понимаю. Это ты у нас — авторитет. Окажи честь!

— Селяныч, я уже столько раз оказывала...

— И еще раз окажи!

Конечно же — он победил и на этот раз.

Я спешила домой по жаре.

...Они сидели во дворе, на маленькой лавочке: мужчина и Селяныч.

— Настюшка! — раскинул объятия Селяныч.

Я взглянула на часы. Не то чтобы совсем забыла про гостей, скорее понадеялась, что склеротичность Селяныча сработает, хоть раз, в мою пользу. И она сработала — до назначенного времени оставался еще час.

— Вы как хотите — а я сначала в реку. Да и воды родниковой для чая набрать надо.

Прихватив канистру, двинулись вместе.

На мужчину пока взглянула мельком — жара плавил мозг. Заметила лишь внимательный взгляд, непривычную, тем более с учетом места и времени, элегантность одежды: белые брюки, в тон рубашка и безрукавка.

«Ну прямо из Рио-де-Жанейро». В такую жару быть элегантным казалось просто пресуплением.

Возле реки Селяныч взмахнул руками: — Я пас. Температура неподходящая.

— Селяныч моржеваться привык. Еще сварится в такой воде, — шутя объяснила я гостю. — А вы?

Но он, аккуратно сложив на берегу одежду, уже заходил в воду. Вид у него без элегантной тройки был весьма... Вместо плавок — какие-то, в обтяжку, полосатые панталоны до колен: так обычно изображают купальщиков в старых фильмах. Кальсоны не кальсоны, шорты не шорты... Бриджи, что ли?

Он окунулся и поплыл рядом.

— Вы откуда? — бросила я взгляд. — Похоже, что не местный.

— Почему — похоже?

— Да так... — Почему-то показалось вдруг, что я его уже где-то видела. В лице жила аскетичность. Строгие, без жиринки, втянутые скулы, узкая линия губ, очерченный подбородок.

Глаза... Было в них что-то. Большие, темные, насыщенного цвета зрелой вишни. Напоминали глаза кого-то из животных: коня, лани. С небольшим выкатом, глубокие.

— Из Ставропольского края. Пятигорска.

— Из Пятигорска? — слово кольнуло, отозвавшись воспоминаньем. — Красивый город. А куда как занесло?

— Да так... Обстоятельства.

Переплыв реку, выбираемся на противоположный берег. С той стороны машет Селяныч.

– Южный человек, значит. А я бы никогда не уехала из такого города. Кавказ, горы...

– Я бы тоже не уехал. Пришлось.

Присматриваюсь внимательней.

– Загадочный вы...

Итак – мы сидели на берегу, с той стороны махал Селяныч, палило солнце, за нашими спинами цвели ромашки, паслись коровы...

А рядом сидел человек в смешных панталонах.

А с вами бывало, что рядом окажется кто-то... И вы вдруг почувствуете, что знали его сто лет? Даже если не знаете о нем ничего. Вы – взрослый и мудрый, уже все пережили, не верите в судьбу, тем более – в какую-то там... с первого взгляда. Потому что ее нет. И вдруг...

Что-то происходит. Рядом оказывается некто в доисторических панталонах, и вы понимаете, что знали его сто лет, хотя знаете последние пятнадцать минут. Вы еще ничего не осознаете, не анализируете, просто ощущаете, что рядом вам почему-то хорошо. И можно говорить на любые темы.

– Стась, – катанула я на языке его имя – мы уже познакомились. – То же, что Стас, только с мягким знаком?

– Да, на южный манер.

«Вроде как мужественно – Стас, но – с мягким знаком».

В лице все же существовала странность. Оно действительно казалось аскетичным, даже суровым, будто выдолблено ветрами, но по контрасту – эта обволакивающая мягкость темных, почти бархатных глаз. Было в них что-то...

Он взглядывает искоса, отводит глаза, взглядывает снова.

А с той стороны взывает Селяныч.

– Настя! Возвращайтесь!

– Селяныч соскучился.

Плывем обратно. Он выходит первым. Замечаю: на плечах, на руках, на спине – татуировка. Не наклеенная – настоящая. Целый Эрмитаж на спине. Зал импрессионистов.

– Селяныч, – говорю я тихонько, когда мужчина приотстает, завязывая кроссовки. – Где ты его выкопал? Кто он вообще?

– Сам не знаю, – пожимает он плечами. – Разговорились, зашел разговор о стихах, ну и... По крайней мере раньше я его в деревне не видел.

– Не удивлюсь, если он окажется... – подыгрываю я глазами в расчете на понимание. – Ну... из мест «не столь отдаленных».

– Да ну... – смотрит он удивленно. – Почему ты так решила?

– Уж больно у него... произведений искусства на спине много.

– Да вряд ли! – качает головой Селяныч. – Я этих зеков издали чувствую – не похож.

– А я и не говорю, что похож, просто...

Оглянувшись, вижу за плечами...

– Вы случайно не знаете, – меняю я тему, – в вашей деревне какой-то чудик поставил у дороги столик со скамейкой. Смотрится красиво. Так и кажется, что поэт поставил. Даже жалко, что не поэт.

Стась вместо ответа улыбается. А Селяныч говорит:

– Ты правильно угадала. Это Стась поставил. И столик, и лавочку.

– Как?!

– Да, – снова довольно кивает Селяныч. – Я потому с ним и заговорил, так же, как ты, – заинтересовался.

– Стась? – смотрю я, чего-то не понимая.

А тот продолжает улыбаться:

– Посмотрел со стороны – вроде чего-то не хватает для логического завершения пейзажа. Ну и – пусть, думаю... Может, кто спасибо скажет.

Только сейчас, в эту минуту, все связалось одной цепочкой.

Появившийся столик. Фигура, что-то колотящая за забором... Пришедший поэт – Стась. Столик – Стась – поэт – фигура за забором...

– Считайте – уже сказали.

Значит – одно лицо? Просто не сразу узнала его, сейчас, в белой тройке, с аккуратно причесанными волосами. Тогда он был в шортах и футболке без рукавов, с растрепанными волосами...

Не узнала, но... Почувствовала... то же самое.

– Значит – вы! – возглас все-таки был радостным. «Все же – поэт!»

Открытия, как и стихи, могут валяться прямо под ногами. Нужно просто не полениться и их поднять.

Селяныч чуть приотстает, вживаясь в природные запахи, а Стась не теряет времени даром:

– Сам не понимаю. Стихи – они приходят са-

ми, словно из воздуха. Ты там будешь читать... У меня есть такие... Острые. На политические темы, социальные, даже — из жизни заключенных — как будто письма с зоны. Меня спрашивают: «Откуда ты знаешь»? А мне их словно диктует кто-то сверху, может, сам Бог?

Я слушаю, киваю, поглядывая сбоку.

«Ну-ну... Посмотрим, что там Бог ему надиктовал. Делать Богу больше нечего».

А потом, уже в саду за чаем, Селяныч брякает вдруг... Так и хочется сказать: с броневой непосредственностью молодости. Хотя вроде к совсем зеленому он не относится, по крайней мере — его внешняя оболочка. И вот Селяныч говорит — и чашка чуть не падает из рук гостя:

— А ты случайно... В зоне-то — не был? Не сидел? — и тут же, словно спохватившись, пугается собственной нетактичности: — Это не мое предположение, просто Настя обратила внимание...

Гость ставит чашку на стол. Смотрит. На меня, на Селяныча...

Но глаза его быстро фокусируются, перестав елозить.

— Да. Было. Чего уж ...

Розовая сказка не состоялась. Пахлава, заливая медовым соусом, медленно испарялась на тарелке.

— Долго?

— Долго.

Я думала, он скажет... Ну, лет пять-шесть... А он говорит:

— Всю жизнь. Всю свою сознательную жизнь. Почти тридцать лет.

— Что?! Сколько?!

Настала наша очередь ловить чашки.

— И чего ты там столько времени делал?

Парень, мужчина то есть — не производит впечатление зека. Если бы не татуировка... Он сдержан, элегантен, он — мил. Все в нем кажется таким изящным, аккуратным, каким-то даже — ювелирным. Так и хочется сказать: «Чисто сработано». Представить, что из этих губ может вырваться слово мата, практически невозможно.

— Ну как объяснить... Я — детдомовский. О родителях ничего не помню. Сначала, первый раз — попал почти пацаном. В колонию. Потом возвращаюсь в родной город. Жилья нет, прописки нет, как следствие — работы тоже нет, для милиции я — лишние хлопоты. Бельмо на глазу. Они,

с моего же согласия, фабрикуют дело. И я — снова туда же. А там — жилье есть, работа есть...

— А, так ты там работал!

— Можно сказать и так. К тому же там у меня уже авторитет. А авторитет на зоне — первое дело.

— Понятно, — киваю я, улыбаясь.

Гость смотрит настороженно.

— Так, — отвечаю я на его немой вопрос, — просто... строчку вдруг... Бог послал:

«Мы сошлись, как два авторитета».

Итак — что-то прояснилось. Приоткрылась страница жизни.

И стало понятно, почему он уехал из Пятигорска.

— Решил: пора и на воле пожить. Если бы остался там — снова бы упекли.

А потом я шла их провожать. Хотела чуть-чуть, но так и прошла полдороги в домашних тапочках.

Почему-то не хотелось расставаться.

На следующий день Селяныч забредает ко мне. Я как раз собираюсь в поселок. Выходим вместе.

Обычно в поселок я хожу по шоссе, а возвращаюсь обратно лесной тропой. А по шоссе я хожу, потому что...

Во-первых, там ездят попутки. А попутки для пугника первое дело.

Во-вторых, чтобы не ходить два раза одной дорогой.

Если мы встречаемся с Селянычем на широте поселка — он идет меня провожать обратно через лес и часто добредает до дому.

Сегодня он добрал до меня самостоятельно, поэтому в поселок мы выходим вместе. Так, мягким способом, я вывожу его из дома.

— Писнул бы ты стишок, Селяныч, что ли, — говорю я, когда, плетясь сзади, он рассказывает то, что мне совсем не хочется слушать.

— Не пишется, — уныло бормочет он. — Уже пять лет — ничего.

— Ты же дисквалифицируешься как поэт.

— А что делать, — вздыхает он. — Музы нет.

— Да... Муза — это серьезно.

Мы уже подходим к деревне Полянка. Впереди поглядывает белый столик с лавочкой.

Издали вижу фигуру. Фигура занимается совсем уж непутным делом: гоняет по саду бадминтонный воланчик.

Да, деревенские жители этого бы явно не поняли.

Но я понимаю.

Мне почему-то приятно, что он играет в бадминтон. Что он может не только что-то колотить, делать серьезные дела, записывать свои тетради... Есть в этом элемент какой-то красивой детскости.

— Смотри, Селяныч, чем занимается твой протеже!

Издали — приветствующий жест ракеткой.

— Заходите! — гребет он в воздухе.

Заходим.

На пороге дома — девушка. Молодая женщина. На вид — лет двадцать шесть-двадцать семь.

— Знакомьтесь, Элина, — представляет Стась.

Элина улыбается. В ее лице нет никакой отрешенности. Она приветлива. Мила. Ростом кажется выше Стася. Почти как Наталья Николаевна рядом с Пушкиным.

— Кто-нибудь играет в бадминтон? — Стась продолжает фильтровать ракеткой воздух.

— Я — пас, — качает головой Селяныч, приставившись на ступеньках.

— Запросто! — дивлюсь я самой себе: сто лет не держала ракетку в руках. А ведь когда-то... — Попробовать можно.

Разбредаемся в разные стороны.

— А что же Элина? — концентрируюсь я на падающем воланчике.

— Она не умеет. А мне хочется... с кем-то. Хорошо, что ты пришла. Тебе — гол!

— Ах, так! — концентрируюсь еще больше. — Вот и тебе — гол!

Мы гоняем по саду легкий воланчик, изредка попадая им в лысину сидящего между нами Селяныча. Нам весело. Хохочет и Селяныч, отбивая воланчик головой и оглядываясь на кухню, где хлопчет над чаем Элина.

— Я буду вам вместо ворот, — говорит он. — Только чур, штрафные не забивать!

Мы со Стасем смеемся. Смеется, выглядывая из кухни, и Элина.

Мне весело на самом деле. И оттого, что я сто лет не играла в бадминтон, и от летающего между нами воланчика... И от фигуры напротив...

А может — от всей нашей вдруг возникшей компании. Ощущение чего-то нового, острого, даже пикантного витает в воздухе. Словно в воздух вдруг пустили легкую струю шампанского.

Наверное, отсюда, с этого смеха, и началась наша дружба. Наша странная дружба. Почему — странная? Об этом позже. А пока...

Пока мы все вместе пьем чай на веранде. И нам хорошо. Мы смеемся и шутим.

— Выбирайтесь ко мне, — говорю я на прощанье. — Покупаться и так, кофе попить.

— Да вот, не могу уговорить, — кивает Стась на Элину. — Никуда не ходит.

— А что так? — взглядываю с недоумением. Уж если зачем приезжают в наши места, так именно — побродить. Тем более Стась — поэт.

Элина молчит. Отвечает Стась.

— Лица своего она стесняется.

— Лица? — взглядываю с еще большим недоумением. Лицо как лицо, молодое, достаточно интересное. Спокойное. Ну разве что немного с неровной кожей. А так — нормальное лицо.

— Вот видишь, нормальное, — говорит Стась. — А ты...

— Это у меня после Индии, — торопливо кивает Элина.

— Ты была в Индии? — не уважать людей, которые путешествуют, я не умею.

— Да, месяц. И там заболела. Возможно — аллергия на что-то. Кожа вдруг воспалилась.

— Представляешь — она два года просидела дома, в Питере. Никуда не выходя. Стеснялась показываться.

— Стась помог, — взглядывает на него Элина. — Делает мне массажи. Сам мазь изобрел, на травах.

— И откуда только ты все знаешь? — мы с Селянычем удивляемся одновременно.

— Так... там всему научился. Хорошую жизненную школу прошел.

А потом Стась идет нас провожать.

Он выходит в домашних тапочках и так идет далеко по шоссе.

Селяныч незаметно отстает. Мы стараемся идти медленней.

А Стась читает вслух Омара Хайяма. Оказывается, он знает его наизусть.

Я слушаю. Мне нравится слушать Омара Хайяма в его исполнении. Ведь почему-то он выбрал именно его: его краткий сферичный мир ему близок.

— Он помог мне выжить, — говорит Стась.

Я понимаю. По крайней мере — стараюсь понять. Через восточного поэта-мудреца легче узнать его самого. А мне надо его узнать — ведь тогда проще будет понять его тетради. И я слушаю Омара Хайяма в исполнении Стася, который идет по шоссе в домашних тапочках.

— Ты даже не переобулся, — говорю я.

— А мне понравилось, как ты вчера. Ты тоже ушла в домашних тапочках.

И я слушаю Омара Хайяма в исполнении Стася, а Селяныч отстает все больше.

А потом у меня в доме раздается звонок...

Но еще раньше — поселяются его тетради.

Он принес тогда их штук семь. К счастью, я успела шепнуть Селянычу, чтобы он наемкнул: «больше двух в одни руки не давать».

— Там в одной проза, в другой — стихи. Объяснить не буду, сама поймешь.

Мы как раз шли от меня. Селяныч спросил:

— Ты хочешь это опубликовать?

— Я хочу... — глядя в сторону, говорит Стась. — Хочу, чтобы люди знали правду.

— Думаешь — это кому-то надо?

— Люди должны знать правду.

— А по мне так... Лучше — о красивом. О цветах, например, — Селяныч срывает подвернувшуюся под руки ромашку.

— Но... мир состоит не только из цветов.

— Ты погоди, Селяныч. Мы же еще не прочитали. Может, он второй Солженицын. Или Шаламов. Главное — чтобы талантливо.

— Ну, если Солженицын, — примиряюще тянет Селяныч.

И вот в доме поселяются его тетради.

В моем доме самостоятельно живет целая библиотека. Тома классиков, сборники стихов, отдельно — поэты серебряного века.

Теперь еще — тетради Стася.

Тетради Стася... они были чем-то особенным. Даже когда я еще не начинала их читать. Они лежали на столе... Как мины замедленного действия. Возможно — призванные взор-

вать мир, возможно — отдельно взятое человеческое сердце.

Но они были особенными для меня еще и потому...

Они не издавались в типографии, не поступали в магазины, от них не пахло свежей типографской краской...

От них тянуло холодом лесоповалов, сыростью барачных нар, пронумерованными тумбочками. Едким запахом изолятора с единственной тускло мерцающей под потолком лампочкой.

«Собою греть бетонный пол».

Строчка запомнилась. Укрепилась в сознании, тиражируя зримую картинку: хрупкого Стася, греющего собой бетонный пол. Стась — поэт.

И похоже — регулярного посетителя этих изоляторов.

А через несколько дней по мобильному раздается звонок.

— Можно... Я приду... Надо поговорить.

— Поговорить? — я удивленно соображаю.

Как раз сегодня Селяныч устраивает очередную поэтическую тусовку. На турбазе. Присутствие обязательно.

— Ну если ненадолго...

Я нахожусь далеко. В поселке. Именно здесь и застает меня звонок.

Но — я спешу. Сегодня — я спешу. А спешу я, потому что...

В моей комнате живут тетради Стася, а в деревне Полянка — он сам. Я еще не поняла, как он там оказался, только деревня Полянка стала для меня чем-то особенным. И не только на этой дороге — похоже — на всей моей личной географической карте. Она стала чем-то особенным, потому что там живет Стась. Или — Стась с Элиной? Или все же — Стась?

Пока я не могу ответить на этот вопрос.

Но — я спешу.

Как раз сегодня я читала его лирику — длинные стихотворные послания, адресованные некой Марине. Во мне еще живут образы. В частности — образ этой неизвестной мне Марины, которую он называет Маринушка и которая почему-то ему не отвечала. По крайней мере — потом перестала отвечать. Что произошло — из писем неясно. Похоже, он ее отче-

го-то или от кого-то спасал. Или — взял ее вину на себя. И из-за этого в очередной раз сел.

Какой он предстает в письмах?

Разный. Нежный человек, но, похоже, с несгибаемой волей.

Он ждет меня за тем же столиком в саду. Рядом — велосипед. Какие же огромные колеса у этого велосипеда. Или — они кажутся такими только рядом с ним?

— Это специальная марка велосипеда, — говорит он. — Мощные колеса для лучшей проходимости.

Мы снова идем на речку. В летнюю жару только за счет нее и можно выжить. Река летом — наша ванна. Коллективная. Поэтому можно купаться вместе и никто ничего не заподозрит. Мы купаемся. Набираем на роднике в пластиковую канистру воды.

Дома я кормлю его супом из щавеля.

Вроде все как в прошлый раз. Все как обычно.

И все же — что-то не то. Не совсем так. Нет амортизатора, буфера, нет Селяныча, Элины. Мы сегодня словно стесняемся друг друга.

— Вкусный суп, — говорит он.

— Ты о чем-то хотел поговорить.

— Да, то есть... О тетрадах, и вообще...

— Я еще не прочитала до конца, — отвечаю торопливо, понимая вдруг, что ему просто хотелось повидаться. Как и мне. Просто — побыть. Вдвоем.

— А кто такая Марина? — вспоминаю я девушку из тетради.

— Так... Одна знакомая. Там, из тетрадей... Ты поймешь.

— Она... много значила для тебя?

— В свое время — да. Много. Сейчас уже нет. Больше десяти лет прошло.

Как-то тесно нам с ним сегодня в комнате. Узко как-то. Спотыкаемся мы друг о друга.

— Может, кофе попьем на улице? — предлагаю. Там — свободней. Воздуху больше, пространства. Ведь тот звучащий нерв — он все еще продолжает...

То, что он «эротоман», я догадалась. С первого раза. С первого взгляда. Еще когда только увидела. Об этом можно не говорить — это витает в воздухе. В голове — фраза из его стихотворного послания:

*«Я научу, чтоб вы владели тазом...»*

Этих эротоманов я чувствую нюхом. Я их чувствую — потому что их нет. Практически — нет. Вывелись как вид. Был один, правда, был... Когда-то. Вот поэтому и чувствую. По запаху, по ощущению. По какой-то невидимой, пьянящей, окружающей их ауре. Как они выглядят — знаю тоже. Именно так и выглядят. Уж я-то знаю. Я могла бы развить эту тему и дальше — может, кому-то мои знания и пригодились бы... Но это тема особой литературы.

— Хорошо, давай попьем на улице, — говорит он.

Не знаю — подозревает ли он, что я — знаю. И зачем вообще он пришел сегодня? Один? Что он-то ко мне чувствует?

А если...

Я отгоняю от себя эти мысли.

Да, я не объяснила — что же я вкладываю в это понятие — «эротоман». Может, кто-то воспримет как ругательство. Я объясню: эротоман, на мой взгляд, это человек, который несет в себе особую эротическую энергию, который таким особым острым образом ощущает вкус жизни. Полноту бытия. Он может быть мужественным, сильным, умным, душевным — он может быть каким угодно. В нем живут самые разные богатства природы. Эротоман не может быть толстым. Это уже из серии немощных сластолюбцев. Эротоман — это другое...

Это человек, в котором эротическая энергия достигает своего высшего апогея, преобразуясь в искусство. Эротоман — человек-трудяга. Так он запрограммирован природой. Все многообразие собственного мира он передает другому, по пути обучая и его этому мастерству.

*«Я научу, чтоб вы владели тазом».*

Эротоман никогда не станет алкоголиком, потому что у него другой, высший способ гармонии с миром. Его способ самоутверждения — заставить другого ощутить космос, нирвану, высшую точку бытия. Потому он проходит по жизни, пронося в себе запахи трав, цветущего хмеля, заката над рекой, выскочившей на воде желтоглазой кубышки...

— На, держи сахарницу, ложки.

Мы проходим по комнате, топчемся на кухне, постоянно натываясь, сталкиваясь, заде-

вая друг друга. Ну до чего же тесная, оказывается, у меня кухня.

И вдруг я понимаю: он пришел сюда не просто так. Совсем не просто...

И тогда... может... совсем не обязательно нам пить кофе на улице? До чего же все сложно. Хотя — чего проще. Есть два человека: мужчина-женщина. Между ними что-то происходит. И это не зовущий всхлип плоти. Это...

Оно пока только угадывается. В окружающей их звучащей ауре. В тайне многообещающей близости. С которой нельзя торопиться, нельзя спешить, чтобы не сломать, не скомкать. Она — как святость, как ритуал...

И потому — все сложно.

— Ну вот, кофе готов. Держи чашки.

Легкий парок перебегает за нами на улицу.

— Почему же ты Элину с собой не прихватил?

— Да она... не захотела. Она вообще мало куда ходит.

— Она знает, что ты сюда пошел? — зачем-то спрашиваю я.

— Нет, она... В баню пошла, — отводит он глаза в сторону. — Я не стал ей говорить. Молодая еще, многого не понимает.

— А что надо понимать? — кажется, я и сама не понимаю.

— Влюбилась она в меня, — через пару минут говорит он. — Я уехал, а она следом.

— Откуда уехал?

— Ну, я в Питер приехал. Жить. На работу устроился, квартиру снял. А меня приятель с ней познакомил — это жена его бывшая. Я гимнастикой увлекаюсь — она тоже. На этой почве знакомство и состоялось. Только у нее все это с подоплекой — с восточной философией. А я, как приехал — крестился, Георгием нарекли. А друг этот еще сказал, как напророчил: «Я бы тебя познакомил — но боюсь, ты с ней жить начнешь». Так и получилось. Сначала вместе занимались, потом я массажи ей делать стал, ну и... А родители как узнали — шум подняли: дочь с зеком связалась. Даже деньги предлагали...

«О чем это он? Что-то похожее и в моей жизни было. Проблемы, родители... Только «зеку» было тогда... Впрочем, не важно».

— Тогда я пошел к батюшке, тому самому, который крестил, рассказал все. Попросил меня

отправить куда-нибудь подальше. Вот он сюда и определил. Это дом его знакомого, но тот пока здесь не живет. Уехал — а она через две недели сама следом... Вот так.

— Ну а... ты-то... ее любишь? — взгляд фокусируется на сахарнице: какой интересный, оказывается, на ней орнамент.

— Не знаю... Очень уж мы разные. Да и возраст... У нее еще во многом — детство играет. Обижается по пустякам.

— А ты не обижай. Она же за тобой — как декабристка.

— По ванне она тоскует. Не может без нее.

— Тоже можно понять. Я потому и в реку — вместо ванны.

А потом мы собираемся. Пора спешить. А то Селяныч там сам с собой тусоваться начнет. Стась оставаться не собирается — но посмотреть не против.

Мы отправляемся, вопреки обычному маршруту, по лесной тропе. Он еще мало здесь чего знает — я хочу ему ее показать.

Красивая она, эта наша лесная тропа. Среди сосен, вскидывающих руки-ветви, горюшек, лесных полянок.

Лес полон созревающей земляники. Ведет она себя ну просто вызывающе.

Стась тянет свой большешкольный велосипед, придерживая его за руль. Я — рядом, с другой стороны — смотрю на его руки. Тонкие у него руки, красивые. Можно сказать, аристократичные руки. И что только он делал там такими руками? Красивые, сильные руки.

— Ты можешь подержать? — спрашивает он вдруг, кивая на велосипед. Передает руль... И тут же исчезает.

— Я сейчас, иди потихоньку.

Я иду — мало ли какие могут быть у человека дела — за велосипедом.

Он появляется неожиданно — выныривает из-за спины. И протягивает ладонь, полную земляники. Крупные сочные ягодины выпирают.

— Угощайся.

Мои руки заняты — я держу велосипед. А он подносит ладонь прямо к губам.

— Ешь сам, — мотаю я головой.

— Для тебя собирал. Бери! — ладонь придвигается ближе, видна каждая отдельная земляничная пупырышка. Я вижу его ожидающий взгляд.

Я хочу земляники. Может быть даже — хочу ее с этой ладони. Но я не конь, который ест хлеб с человеческих рук.

В моей жизни уже была одна протянутая к губам ладонь. И я знаю, как едят ягоды с ладони, ощущая ее теплый вкус.

И я качаю головой: — Спасибо, но...

Но он настаивает:

— Бери, бери! Ну пожалуйста.

Земляничная горка перед моими глазами вырастает до невозможных размеров. В ней парализующе притягательная сила. Губы тянутся непроизвольно.

Но перед глазами вдруг возникает лицо Элины. Она сидит в позе лотоса на скамейке возле приоткрытой двери. В лице ее отрешенность.

— Спасибо, Стась. Но лучше я — так.

Отняв одну руку от велосипеда, я выбираю пальцами самые крупные ягоды.

— Остальное ешь сам. Небось, и не пробовал в том году. А в Пятигорске земляника не растет. Или Элине отнеси.

— Не донесу, — сыпает он в рот оставшиеся ягоды.

Мы идем дальше. Моя рука по инерции еще лежит на руле велосипеда. Его ладонь ложится рядом. Руки соприкасаются...

Лесная тропа. Июнь. Земляника. Жара. Двое.

Руки соприкасаются непроизвольно.

Я... убираю ладонь.

— Сегодня... ну просто невозможная жара.

Наконец мы выходим из леса. Безлюдье кончается. Надо вползти в горку — там, наверное, турбаза.

Тропа через поле — место населенное, не то что лесная. Особенно летом. Но сегодня она населена даже слишком.

Сначала мы встречаем моего соседа. Потом — соседку. Они производят тщательный досмотр большеколенного велосипеда и его хозяина. Потом мы встречаем еще пару знакомых, которые не создают особых препятствий.

И наконец попадаетесь знакомый художник, который выныривает прямо из-под сосен, бросаясь наперерез.

— Как хорошо, что я тебя встретил! — кричит он мне. — Я как раз хотел показать тебе свои работы!

Он раскладывает их прямо под сосной на толстом обвалившемся суку, который вполне может сойти за природную лавочку.

Мы хвалим. Вполне искренне хвалим. Талантливый он, этот мой знакомый питерский художник.

А тот, не теряя времени даром, достает из сумки...

— Нет-нет! — отмахиваюсь я. — Там Селяныч...

Художник с мольбой смотрит на Стася. В его руках прямо из воздуха возникают стопочки, он чиркает по ним тонкой струей...

Сидя на бревне, я вижу перед собой закатное небо. Солнце, как бокалы, наполняет розовым цветом облака.

«Облака плывут, облака. В тишине плывут, в тишине», — вспоминаю я строчку Галича.

Стась — на небольшом валуне напротив — поигрывает пластиковой стопочкой. Он бросает взгляд...

— За союз творческих сил! — художник поднимает тост. Стась кивает.

«Облака плывут, облака...» — странный у него сегодня взгляд, нездешний какой-то. Но лучше бы он так на меня не смотрел.

«В тишине плывут, в тишине».

— Стась, — говорю я, — пересядь к нам, тебе, наверное, там неудобно.

Он пересаживается. И тоже начинает смотреть на небо.

— Хорошо, что я пошел с тобой, — говорит он тихо, — я многое узнал.

Да, он узнал многое. Лесную тропу, наполненную земляникой. Мою соседку и моего соседа. Художника, который пытается его спойть.

— Даже жаль, что я не художник, — теперь он взглядывает на меня сбоку. Да что же за взгляд-то у него такой? Никак не могу я выбрать из-под его взгляда. Узкие сверлящие щелочки... Что вообще у него с глазами? У него же большие, теплые, темные глаза. Но сегодня я вижу узкие щелочки.словно вся сила взгляда концентрируется в них.

— Смотри, — говорит он. — Это облако похоже на шенка с повисшими ушами. Один, бредет куда-то.

Я кошусь. Кошусь на него. Они, эротоманы, все на облаках повернутые, что ли? Было у меня уже и это. Облако, похожее на караван иду-

щих по пустыне верблюдов. Шел-шел караван — и ушел.

Наконец достигаем селянычевской точки.

Даже странно, что он сегодня не один. Небольшая группка плотно вбита в деревянную беседку. Мы проходим мимо, помахая ладонями.

— Я сейчас, — киваю я Селянычу. — Провожу, покажу дорогу.

Мы еще заходим в кафе. Не могу же я не показать ему нашу лавочку, главную корчму, где мы с Селянычем льем поэтические слюни над чашкой кофе.

А потом... Потом я вывожу его на дорогу.

— Ну вот, отсюда не заблудишься, все прямо и прямо — до белой лавочки.

Стась кивает, но почему-то не спешит прощаться.

И я не спешу. Хотя надо бы. Селяныч там поди уже произнес все титулы, рассказал про лауреатство, дипломантство и международную степень магистра поэтических наук. Я ловлю себя на мысли, что мне ужасно не хочется расставаться. Ну просто смертельно. И зачем надо расставаться? Топать на какую-то дурацкую, никому не нужную тусовку. Так бы идти и идти, держась за руль одного велосипеда.

— Мне понравилось это мероприятие, — почтительно говорит Стась о селянычевском сборище. — На следующее приду обязательно. Спасибо тебе.

— За что?

— Ты подарила мне этот вечер.

«И что уж такого особенного было в этом вечере? Ну разве что собака, похожая на потерявшегося щенка с повисшими ушами, шла по небу».

Он берет мою руку, словно хочет попрощаться, и — подносит к губам. Я ощущаю на коже их влажное тепло.

А он почтительно склоняет голову.

И я... не отнимаю руки, хоть поцелуй длится вечность. Вечность целую. Целую вечность.

Мне тоже хочется сделать ему что-нибудь приятное. Например, погладить эту склоненную передо мной голову. Примерно как ребенка. Я не спрашиваю себя — зачем? Ведь не хочется же мне погладить голову Селянычу. Или кому-нибудь еще. А вот Стасю почему-то хочется.

Но я тихонько вытягиваю ладонь из его пальцев.

— Пойду я, Стась. А то Селяныч там поди уже все стихи перечитал.

Я машу в воздухе поднятой ладонью...

И еще долго ощущаю на коже влажный вкус поцелуя.

Сказать, что дальше началась красивая поэтическая сказка, — ничего не сказать. Не дети мы, чтобы верить в подобные там сказки. Скорее — проклятье, заколдованная петля, стягивающаяся на горле возле деревни Полянка.

Нам вовсе не нужно было видеться, чтобы ощущать присутствие друг друга. Наоборот — надо было разделиться, и как можно дальше, но расстояние оказывалось слишком мало. И, как назло, путь туда лежал только через деревню Полянка. И далеко не всегда попадались попутки.

Да, собственно, и видеться было необязательно. Селяныч все новости приносил на хвосте.

— Стась опять про тебя спрашивал.

— И что именно?

Селяныч в тонкости не вникал — жил в своем мире.

— Так, вообще, интересовался. Что-то тебя давно не видно.

— Просто попутки попадают раньше.

— На новую работу он устроился — теперь ездить далеко.

— Знаю.

— Откуда же? — вскидывает он удивленный взгляд.

— Да так, — пожалела, что проговорила. — Звонил.

— Звонил?

Глупую такую завел привычку. То он — адресное бюро, то — ЖЭУ, то — справочное автовокзала.

— Да... Про тетради спрашивал, — отмахиваюсь я. — Заодно рассказал, как шикавал. Автобуса не было, так он за сто километров на работу на такси поехал. Я говорю — какой же смысл зарабатывать, если больше потратишь? А он отвечает — подвести боялся: с человеком уже договорился.

— Ну, наверное, не последнее потратил, — поскрипывает Селяныч. — Ну а тетради-то как?

– Да... пока... объективно сказать не могу. Строчки попадают. В прозе, может, что-то и есть, но требует хорошей обработки. Ну а стихи... Скорее это определенный жанр – писем оттуда.

– Да, как поэт он слабоват, – кивает Селяныч. – А вот девчонка...

– Девчонка? – вскидываю я глаза.

– Ну, Элина, – отводит он взгляд. – Мозги у нее хорошие.

– Ты заходил?

– Да, она меня пару раз чаем поила.

– Пару раз? – смотрю пристальней.

– Ну, может, три-четыре, – что-то Селяныч сегодня тушует. – А он, значит, звонил?

Да звонил он, звонил... Только – далеко я была, в поселке.

Зато теперь вот – не звонит.

И все же – какой-то момент – эйфория действительно была. Да еще какая! Эйфория отношений. Общая всеохватная эйфория.

То – Стась у меня. То – я у них. То – Селяныч у них. То – они у меня. Про Селяныча «у меня» – можно и не говорить.

Поход через Полянку становился чем-то особенным. Явлением событийного масштаба. И дело даже не в том, что можно зайти или встретить... Нет. Для себя я решила – не заходить. Если отношениям и дано каким-нибудь образом развиться – пусть это произойдет без моего видимого участия. Без моего стимулирующего воздействия. Но разве ж моя вина – что путь туда – только через деревню Полянка?

Но... дело в том... Вот в этом-то как раз и дело: в деревне Полянка у дороги находился столик. Волшебный столик. Он продолжал быть для меня волшебным. Это был думающий столик. Столик, думающий обо мне. Да, я могла не заходить, не видеть и не слышать, могла даже не отвечать на телефонные звонки...

Но я не могла не проходить мимо. Ведь он, этот столик, находился у самой дороги, прямо на моем пути. И каждый раз он устраивал мне сюрпризы. Он даже чувствовать умел, этот столик. И каждый раз, проходя мимо, я находила на нем...

Чаще всего это были яблоки из сада. Или – одно, но красиво.

Мне нравилась в их саду одна яблоня. Яблоки были особого оптимистичного цвета, с лилове-

ющими боками и острого, сладко-терпкого вкуса. И каждый раз, проходя, я находила на столе именно эти яблоки.

Конечно, я не могла не ответить. Я набирала в своем саду желто-коричневые, с темной мякотью груши – и оставляла взамен. Не всегда, но – оставляла. Я тоже знала – им нравятся мои груши. А может – сам процесс?

Столик отвечал мне взаимностью.

Я не спрашивала себя, не хотела спрашивать – чья рука руководит этим невидимым процессом. Я знала это и так. Знала: как бы утром хозяин ни спешил, столик опять окажется плодоносным. Мы словно прикармливали друг друга. Осуществляли бартерную сделку. Процесс теплообмена во вселенной.

– А ты сегодня – была, – значительно говорил Стась, когда мы встречались где-нибудь на широте поселка – мало ли мест у путников: дороги, перекрестки, магазины. – Вкусные были яблоки?

– Да, спасибо. Хорошо отдохнула.

– И тебе спасибо, за груши. Чего же к нам не заходишь?

– Да... так... – и, минуту помолчав, не выдерживаю. – У вас там замок все время.

– Замок? – взглядывает он растерянно. – Это не от тебя...

– А от кого?

Странные вещи стали происходить с домом: он словно постепенно отгораживался.

Сначала – двери постоянно были настежь. Створки взлетали вспархивающими ресницами.

Потом уже, после нашего общего знакомства, я проходила – и часто в раскрытых дверях заставала хлопчущую Элину. Стась был на работе. Часто мы разговаривали через забор. Она приглашала на чашку кофе. Иногда эта чашка и состоялась.

– Заходите, заходите. У меня как раз кофе готов, как чувствовала, что вы пройдете!

И мы сидели с ней на верандочке и разговаривали. И я соглашалась с Селянычем – мозги у нее хорошие. Элина выросла в Питере, впитала Питер, похоже, родители вложили в нее по полной программе. Правда, по словам Стася, что-то она с ними не очень ладит. Может, как раз – из-за него?

— А я сегодня первый раз сварила борщ, — с гордостью сообщает она. — Даже маме звонила в Питер, чтобы узнать, как готовить.

— Ну даешь: дорого же! Позвонила бы мне. Я конечно не суперспециалист, но кое-что могу.

— Да ничего, я не часто ей звоню. Тем более — она удивилась, думала — я никогда не научусь готовить.

— Ну, — улыбаюсь я. — Стась просто обязан оценить!

Элина улыбается тоже. Она очень мила, когда улыбается. Кстати, кожа у нее уже почти выровнялась.

А потом я расспрашиваю ее про Индию.

И она рассказывает мне про Индию и даже бросается показывать фотографии.

— Как Селяныч-то? Заходит? — уже прощаясь, спрашиваю я.

— Заходит, — с некоторой паузой отвечает она. — Правда, Стась не очень доволен.

— А что так? Надоедает?

— Да нет... Мне — нет, наоборот, даже скрашивает. Я ведь чаще всего — одна...

— Тогда — странно.

Вот потом и появился этот замок. Большой, мощный амбарный замок. Слепой увидит.

Селяныч в недоумении:

— Зайти хочу — а там замок. Ну, я сначала проходил, думал, никого нет. Но как-то иду вечером — на дверях замок. Оглянулся — а свет-то горит!

А Стась, глядя на меня, говорит:

— Замок — это... просто так. Не от тебя.

И, отведя глаза в сторону, добавляет:

— Насть, поговорила бы хоть ты с ним, что ли... Ну заладил — каждый день. Да еще не по одному разу. Меня нет, а...

— Она что — жалуется?

— Она-то нет, но неудобно. Ведь он там ей... стихи читает.

— Стихи? — смотрю я, зацепив краем сознания вдруг проскочившую нотку ревности. — И что? Плохие стихи?

— Не знаю, — отводит он взгляд. — Правда, Насть, поговори.

— Ну... — пожимаю я плечами. — Раз так проищишь...

А на перепутье — Селяныч.

Как всегда — тянется следом по лесной тропе.

Вот только интересно — как надо сказать: «Селяныч, ты не ходи к ним, потому что Стась этого не хочет»? Или: «Селяныч, ты не читай ей стихи». Или... Или как?

Так, скомкав в горле, подходим к дому.

— Ну что ж, давай — по чаю! — говорю я. «Может, за чаем пойдет легче».

Тулимся тут же, на улице, за низеньким столиком. Чай хорошо пахнет чабрецом.

— Понимаешь, Селяныч...

— Послушай, Настюшка, — вдруг говорит он, почти перебив. И что-то в голосе у него такое — особенное, торжественное. Будто новый текст для вальса Мендельсона написал. — Послушай:

*Чем пленить тебя, женщина?*

*Помоги, подскажи!*

*Не святая ты — грешница,*

*Но грешна, словно жизнь!*

*И окно не засветится,*

*И вокруг — никого.*

*Только тень моя мечется,*

*Как подранка крыло.*

*По двору одиночества,*

*По безгласой стене,*

*Я — без имени, отчества,*

*На тревожной волне.*

*В этом чутком эфире*

*Болью сердца кричу...*

*Всем, что есть в этом мире, —*

*Я тебе заплачу!*

Я смотрю удивленно, ощущая событийность происходящего.

— Селяныч, у тебя... появилась муза?

— Пять лет молчал.

А потом я провожаю его до шоссе. Я мучаюсь, провожая его до шоссе. Ведь сейчас он пойдет мимо своей Полянки. А там — дом. Со светом внутри — и замком снаружи. И он будет корячиться сердцем, но рука дрогнет — и он постучит. И, скорее всего, ему не откроют.

Но я... Я ничего не могу сказать ему. Прости, Стась.

А вместо этого...

Возвращаясь домой — беру гитару... И, пристроившись за тем же столиком, где только что крошил виршами Селяныч, начинаю избивать рифмованной морзянкой воздух:

*Позвони, позвони, а потом — прилети,  
Прибеги, постучи в мою дверь.  
А потом — за столом у меня посиди.  
А потом — крепкий кофе попей.*

*Вот и все, вот и все — это ж просто пустяк.  
Кто посмеет нас в этом винить?  
Ты — сегодня в гостях. А завтра в гостях.  
По гостям просто любим ходить.*

*Только что же молчит-то он, мой телефон?  
Только что ж моя дверь не скрипит?  
Просто — курит хозяин за белым столом.  
На большую дорогу глядит.*

А еще через пару дней — я не выдерживаю. Нарушаю конвенцию — и стучу в дверь под замком.

У меня повод, законный повод. Во-первых, через пару дней Селяныч устраивает очередную поэтическую тусовку. Я хочу пригласить их лично, поскольку не знаю, сделал ли это он сам. Во-вторых, только что я попала под дождь и где-нибудь подсохнуть просто необходимо. К тому же я видела: на веранде кто-то есть, только что впархивали открываемые двери.

Я стучу. Захожу.

Мне рады. Вижу — рады.

— Ты представляешь, — говорит Элина, — он только что, без всякого наркоза, вырвал себе зуб.

— Как? — я и под наркозом-то. — Это что — возможно?

— Так, — пожимает Стась плечами. — Пассатижами. Простерилизовал спиртом — и...

— Но это же... — морщусь я, ощутив вдруг лому всеми еще не вырванными. — Ну у тебя и сила воли!

— Просто я видел, как от зубной боли умирали.

Он пытается продемонстрировать пассатижи вместе с вырванным зубом.

— Убери!

Они усаживают меня за стол. Кормят супом.

У Стася в руках откуда-то возникает маленькая металлическая фляжка.

— Коньячка хочешь?

— Нет, а впрочем... А коньяк откуда? Зуб стерилизуешь?

— Так... По чуть-чуть.

— У него в сумке всегда две вещи: томик Омара Хайяма и фляжка с коньяком, — выдает Элина.

Я смеюсь.

— Так ты у нас пьяница!

— Мне не грозит. Я делаю только один маленький глоток. Это как для курильщика — затяжка. Просто — для красоты жизни.

— Ну, если для красоты.

Мы делаем по паре глотков — для красоты. За вырванный зуб.

— А сила воли... Я ведь там не раз голодал.

— Себя проверял — или по убеждению?

— В перестроечные времена — по необходимости: отрезали от продовольствия. Надо же было на ком-то экономить. Сказали — «выживайте как хотите». Кору варили и ели. Этим я парочку молодых спас. Протянули до весны. А там — травка, начали огороды сажать...

— Ты прямо как про военное время рассказываешь.

— А один раз — да, по убеждению, сорок дней проголодал! Уже ради принципа.

— Сорок дней? — ахаю я. — Не может быть!

— Я тоже что-то не верю, — качает головой и Элина.

— Зачем я вам врать буду. Меня потом даже сфотографировали: живые мощи. Чуть не умер. Но своего добился.

— Теперь понятно, — смотрю, почти поверив: похоже, врать он и вправду не умеет, — почему ты весь такой стройный.

— Я там не переставал гимнастикой заниматься. Это и помогало. И время скрашивало, и себя в форме держал.

Стась говорит, а я случайно перехватываю взгляд Элины. Она смотрит на него... Да в таком взгляде расплавиться можно!

Потом... Разговор перетекает туда, куда ему и положено перетекать...

По возрастающей крепости коньяка — с Омара Хайяма на... сначала на Есенина, а через пару промежуточных звеньев — на Баркова.

— В литературе, как и в зрелищном искусстве, не стоит путать эротику с порнографией, — говорю я.

— Согласен, — кивает Стась, — я тоже за красивое. Но я тебе почитаю, и ты убедишься, что я прав.

И он читает Баркова.

Мне хорошо. Я уже высохла. Коньячок делает свое дело. Стась читает Баркова. Элина плавит его глазами... Хорошо.

Я бы, конечно, тоже кое-что могла почитать. И совсем не из Баркова. Я искоса поглядываю на Стасю: «на Баркова, значит, тянет»?

*«Я научу, чтоб вы владели тазом».*

Говорю же — эротоман. Правда, бывают эротоманы, которые... ну, в общем, только на словах.

Жаль, на деле проверить нет возможности.

Мы сидим с Селянычем на лавочке среди отцветающих пионов. Мы и сами как отцветающие пионы. Цвести не для кого. Селяныч просто гений по устраиванию поэтических вечеров. Иногда мне кажется — он делает все возможное, чтобы они не состоялись. Объявление пишет микроскопическим почерком и вывешивает в самом незаметном месте.

Вдруг — между зданиями...

Я догадываюсь, кто это — по вдруг щелкнувшему выключателю сердца. Вернее — выключателю.

— Селяныч, кажется... Идут.

— Кто? — вскидывает он подслеповатые глаза.

— Наши скромные герои.

Обогнув здание, появляются от торца. Идут, взявшись за руки.

— О! — раскидывает Селяныч произвольные объятия. — Какой сюрприз!

Мы сразу молодеем на последние двадцать лет. Отцветшие пионы затрепетали листиками.

В этих двоих сегодня тоже что-то... Особенное. У Элины — вьются вдоль лица милые кудельки, делаю его наивным, почти детским. Да и Стась сегодня — молодой, юный какой-то. Как тогда, когда увидела его в первый раз.

— Вот уж не ждали, — тянет Селяныч, еще больше цветя.

«Кто не ждал — а кто и...»

Мы еще сидим, продолжаем сидеть у фонтана, отбивая взглядами местный бомонд. Ну прямо сцена из «Бориса Годунова». Осталось только выяснить, кто претендует на роль Марины Мнишек.

Мы уже никого не ждем. Нам вполне хватает и друг друга.

Идем — для начала, конечно, в кафе, в традиционную забегаловку, приватизированную нами с Селянычем. Берем по традиционной чашке кофе, Стась начинает суетиться возле прилавка.

— Стась, у тебя что, деньги ляжку жгут? — вижу я в его руках бутылку дорогого красного. — Здесь же наценка.

— Кутить так кутить! — безапелляционно заявляет он. — Пока деньги есть, а дальше видно будет.

— Стась — он такой, транжира, — качает головой Элина. — Я думала, уж я транжирка, но он еще хуже, пока все не спустит — не успокоится. В этом мы похожи, — бросает она на него полный особой значимости взгляд.

Я, в знак согласия, киваю головой. Да, наверное, Стась — транжира, мы-то не такие. Мы-то — не транжиры. Милая наивность. Когда-то, кому-то, с кем-то — хочется быть похожими.

— Есть предложение, — говорю я. — Берем вино и идем на природу. Жжем костер и устраиваем поэтический огонек на вольную тему.

Идем, но почему-то через турникет. Стась демонстрирует свою ловкость.

Дивя нас, он делает «флажок», уцепившись руками за шведскую стенку. На вытянутых руках поднимает тело почти параллельно земле.

— Ого! — мы действительно удивляемся. Такой трюк я не видела даже в исполнении... заслуженных и народных. Похоже, он умеет владеть не только «тазом». Не зря же... тридцать лет тренировался.

— Сила есть... — народную поговорку Селяныч не продолжает. Ему в свой полный шестидесятник себя в такое положение не поставить. Он может только — вертикально.

Устраиваемся примерно там же, где сидели недавно со Стасем и художником. Чуть выше, где скопище древних каменных валунов.

— Жаль, с этого бревна не полюбоваться закатом, — вздыхаю я — перед глазами невольно возникает — та — картинка.

Стась перехватывает взгляд.

— Запросто, — говорит он.

— Но не будешь же ты его перетаскивать. — Я, конечно, понимаю, Стась сильный, но...

– Запросто, – снова говорит он, уже пытаясь к нему пристроиться.

– Ну, если мы с Селянычем поможем...

– Отойдите! – он почти приказывает.

– Да пусть! – Селяныч с обидой отходит. – Если ему нравится.

А он уже пристраивает корягу между валунами. Как надо – с видом на закат.

– Так – подойдет?

– Ты, Стась, сегодня работаешь волшебником? – я присаживаюсь. – А если бы тебя попросили передвинуть этот валун?

– Запросто, – снова отзывается он.

Я смеюсь его какому-то почти детскому бахвальству.

– Ты знаешь, сколько он весит? Не одну тонну!

– Ты этого хочешь?

– Он лежал здесь, может, не одно тысячелетие.

И вдруг приходит какой-то Стась...

– Так ты хочешь, чтобы я его переташил?

– Нет, Стась, я не хочу, – уже начинаю пугаться его какого-то почти детского бахвальства. – Он лежал тут тыщу лет – пусть лежит и дальше. У нас же поэтический огонек, а не соревнование по перетаскиванию камней.

– Стась – он такой, – смотрит на него Элина.

– При нем лучше ничего не говорить.

– А чего, раз нравится – пусть бы себе таскал, – Селяныч не спеша раздувает костер. – Если ему хочется быть буксиром для транспортировки.

Селяныч, кстати, иногда шутит, правда, не всегда удачно. А ему кажется, что удачно. Сам пошутит и сам посмеется. Примерно так:

– Я мужикам в бане говорю: когда я жил в Ташкенте – зимой постоянно моржевался. А они подкалывают: так у вас там в Ташкенте наверное все моржи, – в этом месте Селяныч смеется. Он смеется, но искоса поглядывает на Элину.

Она сидит на валуне, раскинув руки, как птица крылья, подставляя солнцу раскрытые ладони.

– Элина, не медитируй! – шутя окликает ее Стась.

– Так я получаю энергию из космоса. Это помогает обрести равновесие, гармонию с миром. Ты знаешь другой способ?

– Я лучше анекдот расскажу, – отзывается Стась. – Из жизни. Приходит зек к зубному вра-

чу. За щеку держится. «Что, – спрашивает врач, – проблемы с зубами?» Тот кивает, садится в кресло. Открывает рот. Врач заглядывает – а там ни одного зуба. «Вы же сказали: проблемы с зубами», – удивляется он. «Да, – снова кивает тот, – проблема в том, что их нет...»

Я не дослушиваю анекдот до конца. Мне хватает для осмысления и этой части.

Сначала, когда есть, – у нас проблемы с тем, что есть. Потом, когда не станет, – у нас проблема оттого, что не стало. Вечный вопрос. Как же быть? Иметь или не иметь?

Ну ладно. Сидим, в общем. Селяныч шутит, Элина задает умные вопросы, Стась рассказывает анекдоты из жизни.

Костер готов. Пробка вытащена. Красное вино оживляет пластиковые стаканчики.

– Ну... За нас – поэтов. За тех, которые пишут и которые сочувствуют.

Поигрывает дымком костерок. На горизонте – круглый блин вечернего солнца. Только собаки сегодня по небу не бегают.

– Селяныч, давай с тебя, по старшинству.

Начинает. Исполнение – тематическое. «Прежде думай о Родине – а потом...»

Кто первым начал эту тему – не помню. Уж точно не я.

Может, во всем виноват вкус терпкого вина, может – уходящее, что-то уносящее с собой солнце, может – глаза напротив.

Круг замкнулся в очередной раз. Стихи Стася – длинные, долгие, с тонким эротическим звучанием. В них то и дело мелькают разные женские имена...

Я вижу нацеленный на него от костра зрачок Элины.

– И сколько же их, интересно, у тебя было?

Кажется, я догадываюсь, почему-то отвечаю вместо Стася.

– Наверное, эти твои... коллеги просили тебя писать письма? Своим девушкам, женам?

– Да. Я был главный писарь, – кивает он. – А как ты догадалась?

– Просто, – пожимаю я плечами. – Два варианта – либо ты их от тоски придумывал... Либо – писал письма за друзей. Не мог же ты, сидя там, завести себе гарем.

– Да, надо сказать, это была нелегкая работа, – кивает Стась, – но неплохо оплачиваемая.

— Теперь понятно.

Селяныч принимает эстафетную палочку. Но стихи Селяныча как-то мало напоминают эротические. Они такие же святые, как он сам.

Снова начинает Стась...

Я терплю это долго. Очень долго терплю. Изображаю из себя правильную. Скромную монашку. Синий чулок, падающий в обморок при слове «поцелуй»...

— У меня, между прочим, тоже такие есть!

Я допиваю и отставляю в сторону стаканчик. Правда, не читала еще, вот так, на людях. Но когда-то надо начинать. Я набираю в грудь побольше воздуха...

*Соблазни меня красиво.  
Так, как только ты умеешь.  
Чтобы конь чугунный гривой  
Вдруг повел на острой шее.*

*Соблазни меня — прекрасно.  
Чтоб сквозь трав многоголосье  
Шелестнуло б: я согласна.  
Даже если и не спросишь.*

*Скажешь, подойдя к окну: как грубо  
Ветер с туч срывает глянец.  
Я скажу: хоть это глупо,  
Но, наверно, я останусь...*

Я читаю и краем глаза вижу лицо Стась. Он сидит у костра, развернувшись в мою сторону. Вдруг перехватываю промельк взгляда Элины...

*А потом мы сядем рядом,  
Как торжественные гости,  
А потом сольются взгляды,  
А потом... Но это после.*

*А пока в окошке долго  
Будет длиться дождь осенний,  
Как разлившаяся Волга.  
Как Святое воскресенье.*

Я заканчиваю читать — и тут же понимаю: не надо... Не надо было. Пусть эти стихи и посвящены... Уж, по крайней мере, не тому, который здесь. А может, вообще никому не посвящены. Так, литературному герою.

И все же... Не надо было! Ведь мы же только и делаем, что спасаемся. Спасаемся друг от друга. Себя спасаем — для кого-то. Спасаем свои ситуации. Надо было остаться монашкой, синим чулком, рыцарем, опустившим на лицо забрало.

— А стихи-то, на самом деле, не о том, — говорит Селяныч. — Грустные стихи.

— Ну, Селяныч, теперь твоя очередь, — хочу я скорей соскользнуть с темы.

А Элина вдруг вскакивает.

— Все, я хочу домой. Хватит с меня поэзии!

Стась сидит не шевелясь. А Элина делает шаг по тропе...

Мы с Селянычем пытаемся ее уговорить, но нас она не слышит.

— Так ты идешь? — снова обращается она к Стасью.

— Нет, — голос его деревянный, а может, тоже каменный. — Я не иду.

Девушка уходит, не оборачиваясь.

— Стась, она уходит.

— Это ее решение, — пожимает он плечами. — Она же не спросила — хочу ли я.

Я смотрю на Стась... На ее удаляющуюся спину... Я ощущаю неловкость, чувство какой-то непонятной вины. Пусть даже и навязанной себе.

— Все же надо проводить.

Я окликаю Элину, догоняю ее...

А поэты сидят, слегка повесив носы. Вино почти допито, костерок догорает.

— Так она будет думать, что ей позволено все. Но не мальчик я, чтобы за ней бегать, — говорит Стась, когда я возвращаюсь.

Честно говоря, мне не хочется во все это вникать. Во все тонкости их отношений. Важнее сейчас другое. Что он — остался. Что он — здесь, с нами. Нас еще пощекочивает поэтический зуд. И я чувствую, что ему тоже важно, что он остался: ему хорошо с нами.

— Так что ты скажешь про мои тетради? — спрашивает он.

— Я могу сказать, но... Лучше все же поговорить, имея текст перед глазами.

— Ну а... В общих чертах?

— Понимаешь, все, что ты пишешь, может быть интересно, но если пытаться опубликовать...

Мы не сразу замечаем, что Селяныч с кем-

то разговаривает. Похоже, диалог в самом разгаре.

– Спички есть?

– Меняем спички на поэзию, — отвечает Селяныч другой стороне, представленной прохожими туристами. Они подходят ближе.

– А где поэзия?

Что было дальше — помню смутно. Стихи. Вино. Стихи...

Помню, Селяныч попросил прочитать свое любимое: «Поэта».

Понравилось. Попросили на «бис» — дубль один, дубль два...

Вижу рядом Стася. Почему-то — на коленях. Вернее — на одном колене. Коленопреклоненного. Целует руку.

– Я восхищен. Я восхищен вами, мадам. Мне так не написать.

– Напишешь. Еще и не так напишешь.

– Нет, — качает он головой. — Я так не смогу.

Наконец расстаемся с группой поклонников.

Совсем темно. Ночь. Над лесом — зигзаг луны. Пяточки звезд — копилка для странников.

Идут меня провожать — оба. Очень смешно идут: каждый бормочет что-то свое.

Возле леса Стась говорит:

– Селяныч, если хочешь — иди домой. Я провожу один.

– Почему это? — распрямляется Селяныч.

Если повернуть сейчас — то до Полянки относительно недалеко. Если же пройти лес — придется возвращаться другой дорогой — по шоссе. Это значительно дальше.

Темнота — ни зги не видно. Уже хоть и ранняя, но осень.

– Да, Селяныч, если хочешь — иди, — из самых гуманных побуждений отзываюсь и я.

– Нет, я пойду с вами.

Селяныч говорит: «Я пойду с вами», и это звучит у него примерно как: «За вами надо присмотреть».

Что ж, Селяныч, ладно, присматривай. Конечно, мы выпили вина. Мы читали стихи. Но ведь все равно мы не пойдем, взявшись за руки, как бы нам этого ни хотелось.

Я иду впереди. За мной — с шишкой синего фонаря на голове — Стась. И как догадался прихватить? Смотрится довольно фантастично.

Ночь, силуэты деревьев — и три поэта в синем. Друг за другом присматривающие.

– Селяныч, ты там не потерялся?

– Нет, я иду.

«Не потерялся».

Стась начинает орать песни.

Оказывается, он неплохо поет. Голос у него красивый, глубокий. Только репертуар уж больно...

– Стась, спел бы ты хоть романс какой, что ли.

– Какой тебе романс?

– «Гори, гори, моя звезда...»

Он начинает. Но через минуту снова скатывается на свой обычный репертуар.

А я думаю: «Хорошо, что он не знает до конца ни одного романса. А если бы знал? Своим таким красивым, глубоким... Уж тут бы не помог никакой Селяныч».

Мы расстаемся на развилке недалеко от его дома.

Три поэта в синем.

Все-таки — расстаемся.

Спасибо тебе, Селяныч!

На следующий день главный террорист, он же Селяныч, конечно, у меня. По следам событий.

Но мне — не до чего. Даже не до него. Я уезжаю. Сегодня я уезжаю. Далеко и надолго. Маршрут моего отсутствия — две недели.

И это очень хорошо, что я уезжаю. Просто прекрасно. Почему? Да хотя бы потому, что...

Эта чертова деревня, Полянка эта, уж как-то слишком сильно стала приближаться. Ну просто донельзя — к самому сердцу. Куда ни плюнь — Полянка! Не обойти ее, не объехать.

Поэтому очень хорошо, что я уезжаю. Туристский автобус — он повезет по своему маршруту. Тем более даже пересечет несколько границ. Попробуй достань, деревня Полянка!

А свежие впечатления необходимы каждому художнику. Даже если он пишет мазками жизни по собственной судьбе.

Мы выходим с Селянычем. Говорим о том о сем.

Приближаемся к деревне Полянка. Хоть уже и начало сентября — осень проявляет себя пока только в начинающих созреть яблоках.

Возле дома — никого. Какое счастье — никого.

Вспомнилась почему-то первая встреча. Игра

в бадминтон. Как же весело мы играли! И как все было просто. Заходи — не хочу!

Но вот уже прошли, и двор прошли, и дом прошли, и столик, и даже соседний участок...

Ну и слава Богу, что прошли.

Но вдруг... Неизвестно откуда — вынырнувшая фигура.

— Ты... Что ты здесь делаешь?

— Да так... Помогаю соседям. А ты... Уезжаешь?

— Уезжаю.

Пауза.

— Столик будет пустовать.

— А как... — киваю я в сторону дома. — Нормально?

— Да. В порядке, — немногословно отвечает он.

— Хорошо, — усваиваю я. — Главное, чтобы нормально.

— Нормально, — кивает он снова, словно успокаивает.

Как-то уж слишком понимаем мы друг друга. И без слов даже.

Мне действительно — хорошо. Я не хочу, чтобы из-за меня кому-то было плохо. Даже если я и просто накрутила. Но в любом случае хорошо, что я уезжаю.

Вот только жаль немного, что не увижу эту фигуру за забором. Хрупкую, как фарфоровая статуэтка. Как будто — хрупкую. Стася, делающего «флажок». Сильного Стася, но для меня почему-то — хрупкого. Стася, едущего на безденежье на такси. Стася с синим фонарем на голове. Стася, пытающегося передвинуть тысячелетний валун. Стася на бетонном полу, Стася...

— Ну ладно, пока. Может, пришлю эсэмэску. Элине — привет.

Ну что сказать... Конечно же, на этом история не закончилась.

Вернувшись, я спасалась как могла. Или — спасала? Кого? Их? Его? Себя? В общем — спасала.

Я вспомнила вдруг, что существует рейсовый автобус. Пусть он и ходит раз в день, и наносит финансовую брешь, зато ездит другой стороной — не мимо Полянки. Ну, а обратно — тропой. Нет Полянки на свете, нет.

От Селяныча я кое-что про них знала.

Например, что Элина уехала в Питер.

А это значит, что Стась дома один.

Я попросила Селяныча не говорить ему, что я приехала. Сославшись на то, что хочу поработать.

— Недавно принесли мне кусок пирога, — с гордостью говорит он. — День рождения ему отмечали.

Про день рождения я знаю.

— И сколько стукнуло?

— Кажется, сорок.

— Сорок? — усмехаюсь я. — Две недели назад было несколько больше.

Смешной Стась — хочет казаться молодым рядом с молодой женой. Еще один барон Мюнхгаузен, пытающийся передвинуть время.

— Элина ему ноутбук подарила.

— Да ну!

Что ноутбук у них есть — я знала. Элина привезла из Питера. Они мне его демонстрировали — нормальный навороченный ноутбук.

— Делает вроде на нем что-то. Хотел тебе показать. Все спрашивал...

— Верит, значит, она в него. Теперь, с ноутбуком, он просто обязан стать писателем. Ты все же, Селяныч, про меня не говори.

— Ладно, — кивает Селяныч. — Раз просишь...

Но почему-то мне казалось, что Стась знает. Знает он, что я приехала.

А ко мне как раз пожаловали гости. И это хорошо. Оказывается, маршрутов очень много. Кроме Полянки.

Гости побыли неделю. Я водила их много, рассказывала много. В том числе и про человека, поселившегося в этих местах. Проведшего почти тридцать лет... Ну, вы знаете где.

— Ты с ним поаккуратней, — в недоумении они от такого общения. — Если уж столько лет...

А теперь я иду их провожать.

Я иду их провожать, а на следующий день уезжаю. Сама. Опять уезжаю.

Вот только... Плохо, что путь на автостанцию — мимо деревни Полянка. Не будешь же водить гостей кругами. Ну а если уж все равно мимо Полянки...

Я прихватила тетради — надо отдать, ведь все равно уезжаю. Отдать — и тем самым — порвать. Окончательно и бесповоротно. Тетради еще как-то связывали.

Я решила, что отдам их на обратном пути — днем он все равно на работе.

Но — наткнулась неожиданно — он шел по шоссе на полянский родник.

— Ты?

— Ты?

Как там писал Пушкин жене своей — Наталье Николаевне: «Смотрелась ли ты сегодня в зеркало? Убедилась, что с твоим лицом ничего не сделалось?»

Всматриваемся, отводим глаза, всматриваемся снова.

— Что за приятный молодой человек? — спрашивают гости, когда расстояние опасной близости преодолено.

— Да тот самый, который тридцать лет...

Я захожу потом, ближе к вечеру. Двери открыты настежь — поэтому заходить легко. Уж так легко...

Я захожу — и сразу понимаю — не вовремя. Столько собиралась, решила наконец, и...

На столе букет.

— Элина приезжает?

— Да, сегодня, сейчас. Через полтора часа автобус.

— Значит, пойдем вместе. Дойду с тобой до перекрестка. Я тетради занесла. А то завтра уезжаю.

— Уезжаешь? Опять? Надолго?

— Да... Не знаю пока. Дней на десять. Но лучше — вернуть. А поговорим потом. Раз спешить.

Он суетится. Пытается напоить меня кофе. Что-то уж слишком он нервничает. И я, кажется, знаю почему.

Он здесь — под надзором. Как Пушкин в Михайловском. Только вместо отца Сергея Львовича — соседка. Маленькое местечко — не скроешь. Соседям поручено за ним приглядывать. Зек все-таки. Соседка просто из кожи вон лезет, приглядывая. Чуть ли не в комнату, чуть ли не в постель.

— Ладно бы хоть собой что-то представляла, а то... — пожаловался он как-то, — мозги куриные, а наглости...

Осудила я его тогда за эти слова. Но — видела потом эту соседку. Да, не хотела бы я иметь под боком такого Бенкендорфа.

И потому — нервничает, вижу.

— Ты хоть... комнаты-то посмотри, — приглашает он. — Я ведь тут ремонт сделал.

Посмотрю, конечно, не жалко. Хоть и не ваши они, эти комнаты. Еще одна зона — под присмотром соседки.

Надо же — у него тут и кабинет отдельный — «молельная» называется.

— Ты что — молишься?

Кругом — иконки, лампадка горит. Ну не представляю я его молящимся.

— Иногда бывает.

— Работает? — киваю на ноутбук.

— Пока не получается. Прихожу с работы — тут Элина со своим...

— Чего-то она в Питер зачастила.

— Говорю: не может без ванны. Да и к врачу ей надо.

— К врачу? — взглядываю я. — По поводу лица? У нее же вроде все прошло?

— Да... Ты... кофе-то будешь?

— Да ладно, обойдемся.

Выходим из дома. Вижу вдалеке за забором мелькнувшее платье. Соседка.

Идем по шоссе. Уже дошли до камня. Здесь — развилка. Мне — налево, ему...

— Да, я хотела спросить, — вспоминаю, уже почти свернув. — Тогда, после нашего вечера... Почему она все-таки ушла? Обиделась?

Он смотрит минуту. Молчит.

Расстояние между нами... С каждым шагом, с каждым метром... Соответственно теореме о двух прямых, расходящихся из одного угла.

И вдруг говорит, кричит даже:

— Может, и обиделась. Ее дело. Хочет — пусть обижается. Но я все равно сказал: «Если женщина мне нравится — я буду с ней общаться! И — со всеми вытекающими последствиями!»

Я уже отошла, а он — не сказал, прокричал даже, как флагом промотав в воздухе букетом.

Но — поняла-то я не сразу, потом только. Про женщину и последствия.

А тогда, еще и не расслышав толком, помахала рукой:

— Ну давай, Элине привет!

Но вот и снова поездка.

И снова дом.

И я уже знаю последние новости. Новости — интересные.

Не так просто, оказывается, Элина ездила в Питер. Не только чтобы помыться в ванной. Да, она ездила к врачу. Но совсем не по поводу своего лица.

Элина — беременна. Ждет ребенка. Естественно, от него, Стася.

Теперь мы не видимся вообще. Поводов нет. И тетрадей нет. И Элина беременна.

Она настолько беременна, что, не успев приехать, уезжает снова — становиться на учет.

Это все хорошо. Плохо только, что он остается там один. А ведь эта Полянка так близко...

К тому же — существует Селяныч. И трассу никто переносить не собирается: путь в поселок — только через белый столик. Автобус ездит кругами, но на то он и автобус — что ему лишние десять километров. Но я-то — не автобус.

...Он догоняет меня на въезде в горку. Я слышу, что догоняет — по скрипу сзади велосипедных колес. Да я расслышала бы это и так: что ли, у меня нет сердца?

Я только что проходила там, через Полянку. Мы еще даже не успели сказать друг другу «здравствуй» — как из-за забора выторчалась соседка. И так уж она облюбовала весь мой образ, что я до сих пор чувствую себя облюбованной. Я поторопилась пройти.

Скрип раздается совсем рядом.

Догнав — крутится зигзагами, приравниваясь к моему шагу.

— Первый раз вижу, чтобы человек на горке не только не слез с велосипеда, но еще и делал на подъеме виражи, — говорю я. Надо же что-то говорить.

— Могу еще и тебя подвезти.

— Спасибо, — я невольно вспоминаю Стася, который собирался таскать валуны. — Боюсь — покатаемся обратно.

— Ничего, далеко не укатимся — сзади Полянка. Хотя... — оглядывается он на перекресток, откуда начинается тропа и к моему дому.

Я взглядываю на него: знает ли он, что я знаю?

— Так ты будешь садиться? — он так и продолжает крутиться вокруг.

— Боюсь — не потянешь, — смеюсь, усмехаюсь то есть.

Ведь сесть сзади — это значит обхватить его, чтобы не упасть. А зачем мне обхватывать

его? Нет, не так это просто — сесть сзади.

— Так давай проверим: потяну или нет.

— Спасибо, но... — «Знает ли он, что я — знаю?»

— Я уж, Стась, лучше так. Пешком.

— А что так? — смотрит он. В глазах вопрос. Ведь мы же оба — умные, мудрые оба.

А во мне все еще живет реплика. Про последствия. Вытекающие. И про то, что «если нравится»... Значит — вполне могут быть последствия.

Из-за этого я и не могу к нему сесть. Не провоцировать же — на «последствия». Тем более — тогда — это было еще тогда. Тогда мы (по крайней мере я) еще не знали о беременности. Но сейчас... Зачем играть, балансируя на волоске. Нервировать женщину, пусть даже и за ее спиной, которая носит ребенка. И потому я говорю: «Спасибо», — и иду пешком.

А он спрашивает: «А что так?» — и взглядывает в глаза.

— Так, — отвечаю я и не выдерживаю: — Ты понимаешь все не хуже меня.

— Что именно? — тормозит он.

«Стась, ну ты же мудрый...»

— Скажи, раз начала.

— Беременным женщинам... надо сохранять верность!

Он молчит и крутит педалями дальше.

Ну и ладно, что сказала. Зато ответила на вопрос. Который стоял между нами. Чуть ли не с первой встречи. Чуть ли не с первого взгляда.

И ответила на реплику о «последствиях».

И ответила, почему я не могу сесть на его велосипед.

Мы уже вползли в горку. Здесь я сворачиваю на турбазу. Ему — дальше, в магазин.

Надо расстаться. Он соскакивает с велосипеда... Мы мнемся в неловкости рядом.

Надо расставаться, но... До чего же не хочется! И до чего же это несправедливо. Лучше не видеться вовсе.

— А... пошли, — говорю, — ударим по кофейку! — в конце концов ведь все уже сказано. И последствий не будет. И турбаза рядом.

Тем более — у меня есть к нему предложение. Конкретное деловое предложение — это касается его тетрадей.

— Пошли! — он почему-то оглядывается. — Только с условием: туда я тебя повезу. Все равно горка кончилась. Садись!

Я еще раздумываю. И почему-то оглядываюсь тоже.

— А! — машу рукой. — Была не была! — «Пропадай моя жизнь со всеми вытекающими последствиями!»

— Только держись крепче! — уже на ходу кричит он.

И я — держусь! Еще как держусь! Ох как держусь! Обхватываю его и смеюсь, обхватив:

— Эх, хоть за мужичка подержаться!

И он смеется тоже, и крутит педалями, и снова кричит:

— Достояна же и ты хоть маленького праздника!

— Что?

— Я говорю — достойна и ты хоть маленького счастья!

— Я? — смеюсь снова. — Я, Стась, и большого достойна!

И мы — мчимся... Так и хочется сказать: навстречу ветру! Он свистит в ушах, треплет волосы, солнце катится, тянутся навстречу ветви деревьев...

— Все, приехали. — Я соскакиваю.

— А что так? — Стась оглядывается, не понимая.

— Турбаза.

Он же не знает, что и в моей жизни тоже что-то есть. И живу я здесь не один месяц. И даже не один год. И я ведь тоже достойна счастья. Хотя бы того, которое у меня было.

А в кофейне — никого. Мы вдвоем — и пара чашек на столе.

— Я сейчас была в Москве, — говорю я. — Попалась мне книжка Григория Губермана «Записки вокруг барака». Подумала: вот бы тебе посмотреть — может, на какую-нибудь мысль натолкнуло, — я медленно подвожу к теме...

Но он говорит вдруг:

— Я решил это оставить. Пока — оставить. Другое у меня сейчас...

Я смотрю внимательно. Слушаю... И почему-то не удивляюсь. Не потому, что он слаб и не хочет работать над тетрадами. Ведь я же сама и говорила: «Может, наоборот, забыть, познать другой жизнью. Может, не стоит травмировать себя этим».

— Как хочешь, — пожимаю я плечами. — Ты

меня озадачил — поэтому и реагирую. А если не хочешь...

— Может, потом, когда-нибудь. Сейчас мне... другого хочется. Семьи, ребенка, — говорит он каким-то оправдывающимся голосом, словно боясь, что я не пойму.

Но я понимаю. Еще как понимаю. Ведь у меня — было. Все уже было. И все — по полной программе. И я даже ощущаю себя старше его на это — «уже было».

— Не оправдывайся. Я понимаю. Правильно, что ты так решил, что этого хочешь. Это сейчас важнее. Ты должен укрепиться в этой жизни.

— Но есть еще и вторая причина, — помолчав, добавляет он.

Я жду.

— Вы с Селянычем... Я вас послушал. Понял многое. Мне не хватает... грамотности там, всего... Вы — настоящие. А я — так... Дилетант.

— Ну... это ты зря...

— Я сейчас должен зарабатывать. Семью кормить. Родителям ее доказать... Что я сам — могу. Не хочу, чтобы они нас содержали.

— Ты по-другому и не сможешь. Не сумеешь. И они это поймут.

Мы еще долго сидим, помешивая ложечками остывший кофе. Мы же не виделись сто лет. Сто лет и одну жизнь. И я спрашиваю его:

— А кем ты работал — там? — Я знаю, что многие там приобретают профессии. Тем более — он многое умеет.

— Я там ни дня не работал.

— Как это — ни дня? — смотрю не понимая.

— А так — ни дня.

— Все тридцать лет — и ни дня?

— Да, все тридцать — и ни дня.

— Но ведь что-то же ты там делал?

— Что-то — делал. Но не руками.

— Чем же тогда? Головой? — усмехаюсь невольно.

— Можно сказать — да, головой работал.

— Профессором, что ли, был?

— Почти. Психологом.

— Психологом?!

— Да, работал с молодежью. Учил, как жить, чтобы туда не попадать.

— А... Так что же ты тогда, психолог... — стало вдруг даже обидно. — Сам-то... Неужели на свободе хуже?

— Я же объяснял... Последний раз попал, уже решив, что выйду — потому что — подставили. Дело одно подвернулось: решил — сделаю и все — конец! Буду к воле привыкать. А это подстава была — чуть мокруху на меня не повесили.

— Как? — погружаюсь я в непривычные для уха термины.

— Ну, мне сказали: в одной квартире на одном месте лежат деньги. Хозяев не будет — сто процентов. Надо их взять. Я действую, как договорились, поднимаюсь, открываю дверь... Вхожу. В черной маске, чулке то есть... А на кровати — женщина. Чему ты смеешься?

— Да так. Представила просто: ты в чулке черном, а на кровати — женщина! Повезло! А мокруха-то в чем?

— Ну, те, которые меня на это дело отправили, и решили, что я эту женщину... Прикончу в общем, чтобы свидетелей не было. Тогда бы — пожизненно.

— А им-то зачем это надо было?

— Так... недругов хватает. Насолил кому-то. Вот и решили...

— Ну а женщина?

— Испугалась, конечно. Но я говорю: все в порядке — просто этажом ошибся. Чему ты опять смеешься?

— Да так...

Представила невольно: заходит к тебе — в черном чулке и говорит: «Извините, я этажом ошибся. Пойду грабить этажом выше».

— Да, не поняла она своего счастья. Представлю я тебя в черной маске. Наверное, тебе идет.

— Если хочешь — надену. Специально для тебя. У тебя... дома-то... есть черный чулок?

— Дома? — взглядываю настороженно. — Может, и есть. Может, у меня дома и деньги есть! — ухожу от опасной темы.

— Не беспокойся, у тебя я красть не буду. Если соберусь — ты узнаешь об этом первой. Так... что? Идем?

— Куда? — делаю недоуменное лицо.

— Куда скажешь...

Ну почему же все нужно так коверкать? Запрещать себе...

Можно, например, запретить себе — дышать?

Почему я не могу пригласить его на чашку чая? Кто сказал, что это запрещено?

Слушать его рассказы, как он читает Омара Хайяма, смеяться, когда смешно, читать стихи, глотая маленькими порциями коньячок? Брести, болтая, через лес, пусть даже и не взявшись за руки...

Кто сказал, что запрещено? Кем — запрещено? Зачем — запрещено?

— Так что? — снова говорит он. — Идем?

Я еще медлю...

«А, — машу про себя рукой. — Была не была!»

Я медленно поднимаюсь из-за стола.

— Ну, если так хочешь...

Звонок мобильного. Его рука тянется в карман...

— Да, я слушаю. Где нахожусь? Дома. Один. Голос веселый? Да просто слышу тебя. Что делаю? Велосипед чиню. С колесами что-то... Велосипед, говорю, чиню...

Я... медленно задвигаю стул. Делаю шаг в сторону двери...

Прости, Стась, наверное черная маска тебе действительно идет.

Но ты чини свой велосипед, ты как следует его чини.

Ну что еще?

Вы когда-нибудь возводили баррикады в невидимом пространстве? Попробуйте, может, у вас получится.

У меня получилось. Возвела — и ничего, живу. Кстати — нормально живу. Работоспособно.

Иногда ко мне приходит Селяныч. Он приходит пожалиться на свою жизнь.

Ушла Любанька-то от него, ушла. А куда — он и сам не знает. Я бы сказала, но не знаю тоже. Один раз дело было: вышла я из дома — в поселок собралась, вдруг вижу — впереди, в зарослях кустарника, одуванчик ныряет. Голова седенькая. Смотрю: Любанька-странница авоську тянет.

— Ушла, — говорит она, — я от вашего поэта, два дня странствую.

Приютила я ее на своем диванчике. Покормить попыталась, так она — гордая, отказалась.

— Ты за меня не волнуйся. Я уже в часовенке посидела, перекусила под крышей. И домой зашла — козу навестила.

Странница, в общем. Типичная жена поэта.

Грустно мне — и за нее, и за Селяныча. И за козу тоже.

Но ситуация смешная, глупая даже. Согласитесь: днем я встречаю Селяныча, пью с ним кофе, а в это же время у меня на диванчике спит его жена-странница. И я ничего не могу сказать ему, потому как она так попросила. А Селяныч вдобавок тянется меня провожать.

Скажете — не смешно? Грустно, в общем.

Да и Селяныч в последнее время — тусклый, неприкаянный какой-то.

А за окном — осень. Поздняя уже совсем. Отзолотило. Ветер срывает последние листья. Мертво кругом.

А в деревне я теперь редко — больше в поселке, благо есть у кого. Собираюсь уезжать.

Сегодня вот, правда, зашла ненадолго. Надо забрать кое-какие вещи. Перебираю бумаги... А это что? Строчки какие-то: «собой греть бетонный пол», «я научу, чтоб вы владели тазом», «рассвет окрашен сердца лоскутком». Ну Есенин прямо. Выписки из тетрадей.

Господи, как же все глупо!

Метафизика отношений. Сначала — встречаешь... Можно сказать, наталкиваешься прямо на дороге.

Еще ничего не знаешь, ничего не накрутилось. Просто что-то толкает в сердце, и вдруг обнаруживаешь в себе... Как там в песне: «значит, я еще мужик — с головы до пят!» Пусть не мужик, а наоборот — но — «с головы до пят». Особенно если учесть, что уже много лет... И произнесен невольный приговор: «окончательно и бесповоротно».

А тут вдруг раз — и... И «с головы до пят». Оказывается — просто не было подходящего объекта. В природе не предусматривалось. И вдруг — эксклюзив, специально для тебя!

Дальше... Узнаешь, читаешь его тетради, общаешься... Узнаешь его жизненные принципы.

Он становится тебе интересен. Уже сам по себе — вне остального. Но остальное... Оно тоже никуда не исчезает. Но ты хочешь общаться — уже вне всего остального. Готов пожертвовать и этим остальным, даже превратившись в засохшую мумию. Хоть именно в нем и угадываешь нечто, способное прозвучать общим дуэтом.

Но его девушка... Она начинает ревновать. Несмотря на то, что между вами разница чуть

ли не в двадцать лет! И ты — уступаешь. Уступаешь снова. Хотя бы просто тем, что устраняешь себя. Тем более — она ждет от него ребенка. Она может дать ему настоящую семью, чего не можешь ты. И даже не почему-либо — а просто потому, что у тебя все уже было. И потому — устраняешь, умертвляешь себя.

Но душа... Она становится зрячей. Катастрофически зрячей. Она видит даже то, что ей совсем не надо видеть, — на расстоянии многих миль. Она видит даже — как он видит тебя!

— Сегодня тебя даже Элина спрашивала, — говорит Селяныч, когда мы перекрещиваемся с ним за чашкой кофе (акцент на «даже» — потому что остальные спрашивают постоянно). — Что-то тебя давно не видно?

— Она что — приехала?

— Да, уже неделю.

— Ты... был у них?

— Нет, я теперь не захожу, — отводит он взгляд. — У меня тоже свое самолюбие есть. Просто — встретились на дороге.

— Вдвоем были?

— Нет, одна. В магазин шла.

— Что еще?

— Да так... Ничего особенного. Спрашивала — здесь ли, чем занимаешься.

«Соскучилась, что ли?»

Ну вот, теперь и Селяныч давно не заходит.

Я откладываю в сторону листки...

Да что же это такое в самом-то деле!

Почему надо жить в мире придуманных условностей? Почему — надо — умерщвлять?

А если я не хочу — умерщвлять? Если хочу — жить! А жить — значит видеть! Видеть их всех! Даже Элину, потому что она тоже часть его! Она интересна мне и сама по себе, эта — не то взрослая девочка, не то — маленький взрослый. И она носит его ребенка. Сейчас их — уже трое! И я хочу видеть их троих! И кто мне это запретит? Да кто может мне это запретить?

И тогда, может, ну его к черту, этот мир придуманных условностей!?

Я — хочу — их — видеть!

Пора, наконец, дорасти до самой главной, зрелой мудрости. А мудрость эта как раз в том и состоит, что... Я хочу их видеть! А если я хо-

чу их видеть — значит я должна их видеть! Вот она, самая главная и зрелая мудрость! И я знаю, что я сейчас сделаю! Я наберу номер телефона... И скажу... Какую-нибудь глупость, какую-нибудь невероятную глупость! Вот только какую бы, достойную, придумать глупость? Что же это за глупость должна быть?

Звонок мобильного...

Я хватаю трубку, не успев разглядеть номер телефона:

— Я правильно попал: это АТС? — раздается в трубке мужской голос.

— Что?

— Это автоматизированная телефонная служба? Вы делали заказ?

— Никакой заказ я не...

— Так сделайте! И мы зайдем к вам его выполнить. Только заварите чай покрепче — ваш фирменный, с чабрецом. И желательно — на воде из родника. Мы уже в районе развилки...

— Мы? Кто такие — мы?

— Автоматизированная телефонная служба.

Наверное — на этом следовало бы поставить точку. Но это — для литературы. А по жизни...

А по жизни — мы идем рядом. Все четверо. Я, Селяныч, Стась и Элина.

Возвращаемся в поселок. Они проходят Полянку — и идут дальше — провожают. Кстати, я заметила: замок с дверей куда-то исчез.

...Они явились ко мне втроем. Гуляли, изучали окрестности — и зашли. Как бы — случайно — экспромтом. Но, как известно, экспромт — это хорошо продуманная закономерность. Тот самый случай — инкогнито Бога.

Вам, небось, кажется, что, когда они поднимались по моему крыльцу, в небесах звучал вальс Мендельсона?

Правильно кажется.

Я пою их чаем, присматриваясь: ведь мы же не виделись тыщу лет. Тыщу лет и еще полтора месяца.

У Элины уже заметней обозначился животик. Селяныч светел ликом и, как обычно, шутит.

— Как соседка? — спрашиваю я у Стася.

— Слава Богу, уехала на неделю. Присматривать некому.

— Так давай я за тобой присмотрю, — говорит Селяныч. — Я же все-таки бывший мент.

Так и сидим — бывший зек, бывший мент... Да, я же не сказала про свою бывшую профессию. Если скажу, что прокурор — поверите?

Зек, мент и прокурор. Бывшие. Только Элина у нас настоящая. Настоящая будущая мама.

— Кажется, я нашла точку опоры, — говорит Элина, незаметно опуская взгляд. — А чай у вас вкусный. Попросила бы еще, но... — и она снова скашивает глаза, словно спрашивая разрешения.

— Кстати, про чай, — подхватывает Стась. — Вышел зек из тюрьмы, женился. Год живут, два. Вдруг жена от него уходит. Его спрашивают: чего ушла-то? Он отвечает: «Не знаю. Жила вроде в достатке, дом — полная чаша: утром пачка чая, днем — пачка чая, вечером — пачка чая...»

Селяныч с Элиной смеются. Я смотрю вопросительно.

— Чай для зека — первое дело, — объясняет Элина. — Показатель достатка.

— А... — теперь смеюсь я. — Значит, живем в достатке. Ничего, кроме чая.

В общем — все как обычно. Селяныч шутит, Элина задает умные вопросы, Стась рассказывает анекдоты...

Сказать вам, что нам хорошо вместе, — ничего не сказать. Нам — нормально. Так нормально, как только и может быть тем, кто должен быть вместе.

Впрочем, разве я могу запоминать, о чем мы говорим, когда глаза...

Глаза сияют.

Вот здесь-то уже просто необходимо поставить точку. Чтобы закончить на красивой, оптимистической ноте. Но я не оптимист. Вернее — не такой законченный, как раньше.

...Конец ноября. Завтра я уезжаю. Потом, к лету, я еще вернусь, но завтра я уезжаю. А сегодня я в поселке, иду напоследок прогулять своего пса.

На улице темно, ветер задувает.

Навстречу — человек. Уже почти пройдя, узнаю в сумерках фигуру. Правда, вид у этой фигуры... Словно подбитый ветром.

— Ты?

— Ты?

Я знаю: он так и продолжает работать где-то далеко, встает в четыре утра, чтобы попасть на ранний автобус.

— Поздно ты.

На нем какая-то нелепая кацавейка, подпоясанная ремешком, подол топорщится вокруг колокольчиком. Прямо Филиппок из обязательной школьной программы.

Идем рядом. Молчим.

— Знаешь... раньше я думал, что справлюсь со всем, — вдруг говорит он. — И справился бы. На войне, под пулями бы — смог. А вот с женщинами... Нет опыта.

— Стась, ну ты же мудрый. Столько пережил. Голодал целых сорок дней. Ты же — психолог, — стараюсь я его хоть как-то взбодрить. Уж больно вид у него...

— Но должен же я как-то жить. Должен понять...

Что-то уж больно похож он на замороженного воробышка. На маленького замороженного воробышка. Мне даже хочется схватить его, спрятать за пазуху и отогреть.

— Ну что делать, Стась, беременные женщины они такие... Надо уметь прощать.

— Я стараюсь. Но ты знаешь — словом можно убить.

— Что делать, Стась, надо терпеть, надо...

Ну какой же он замороженный. Просто — замороженный насквозь. Рыбка, вмерзшая в лед в забытой на дворе банке.

И я ощущаю себя вдруг... Какой-то слишком благополучной, что ли. Старой и мудрой, как черепаха Тортилла. Рядом с ним — самим таким мудрым, таким знающим и таким — ребенком. Он словно новорожденный в этом мире, такой маленький, такой мудрый, такой беззащитный.

И больше всего на свете мне хочется схватить его и спрятать за пазуху. Вместе с банкой.

— А ты... — спрашивает он вдруг. — Ты — как?

— Я? — пожимаю плечами. — Ничего. Уезжаю вот завтра.

— Уезжаешь? Надолго?

— Да, — киваю небрежно. — До следующего лета.

Он молчит, глядя в сторону.

— Почему все так...

— Как?

— Почему все — так?!

И вдруг — я вижу его глаза. Они совсем не замороженные. Наоборот.

— Все... правильно, — говорю я, пожимая плечами. — Все нормально. Все так и должно быть!

— Нормально? — смотрит он на меня.

— Нормально, — киваю я.

И мы снова стоим и снова молчим. Не замечая мокрой снежной пороши. Ноябрьского ветра, избивающего щеки.

— Иди первая, — говорит он.

— Хорошо, — я киваю, кликаю пса и — ухожу.

— Все нормально! — слышу я сзади.

— Нормально! — не оборачиваясь, вскидываю я руку вверх. — Все нормально!

Нормально, Стась, все нормально! А мороз — он высушит глаза, а ветер — остудит сердце...

Все нормально!

И мы не имеем право даже на прощальный поцелуй.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

**В**от уже год мой телефон молчит.

Пустует столик. Вернее — пустовал. Долго пустовал.

Так долго, что каждый раз, проходя, мне хотелось взять и зашвырнуть его куда-нибудь подальше. Чтобы не мозолил он тут глаза пустым бесполезным пятном. Зачем столик, если на нем ничего нет? Зачем он — без хозяина?

Но чья-то рука опередила. Его перебросили через забор, и он лежал там, беспомощно и глупо задрав кверху ноги, как факт надругательства над святыней.

...Обитатели таинственной Тамани, они появились внезапно, из ниоткуда, внеся сумятицу в наши сердца.

И — исчезли так же неожиданно, как появились.

Прошел год. Мы с Селянычем идем той же лесной тропой.

Конец июня. Земляника.

— Извини, Селяныч, но...

Я ныряю в заросли, полные душистых ягод.

— Два поэта на земляничном пути, — вдруг говорит Селяныч, наблюдая за моим очередным марш-броском.

— Что? — застываю я с ладонью, полной ягод.

— Мы с тобой — два поэта на земляничном пути.

Я смотрю на Селяныча — и вижу: знойное лето, большие колеса велосипеда, ладонь с ароматом ягоды, протянутую к губам.

Два поэта на земляничном пути....

— Это ты хорошо сказал, Селяныч, очень хорошо.

Есть путь — Млечный, есть — земляничный. Если звезды ковша Большой Медведицы соединить и мысленно продолжить, можно упереться в Полярную звезду. А Полярная звезда олицетворяет собой центр Вселенной, равновесие мира.

Если путь — он обязательно должен куда-нибудь привести.

Иногда мы встречаемся с Селянычем возле белой скамейки у дороги. Мы оказываемся там как бы случайно.

— Посидим? — говорит Селяныч.

— Посидим.

Мы делаем вид, что устали, и садимся на лавочку под старой липой.

— А все-таки как поэт — он слабоват, — говорит Селяныч.

— Да, — соглашаюсь я.

— Можно сказать, совсем никудышный.

— Да, — снова киваю я.

— И девчонка эта тоже... С причудами.

— Да.

— Очень странная парочка!

— Да.

Мы сидим на скамейке под старой липой, ко-

торую поставил поэт для других поэтов. И сколько же развелось их на белом свете!

— И чего только поволокло их в этот Питер?!

— Да!!!

Мы вздыхаем и молчим.

И смотрим на дорогу. Смотрим, словно чего-то ждем.

До сих пор — ждем!

## ЭПИЛОГ

Вот вам и история.

Может, вы думаете, что в этой истории... у кого-то чего-то — не состоялось? Не случилось? Не произошло?

Зря вы так думаете. Все произошло именно так, как и должно произойти.

Все — случилось. Я знаю это точно. Уж мне-то поверьте!

Кстати, если интересуется: книжку Селянычу мы все же сделали. Есть там один раздел... Он так и называется: «Поэт в поисках музыки».

Ну что еще...

Да, а Любанька-то к Селянычу вернулась. Вернулась-таки!

Потому как — помягче он стал теперь, помягче.

□

### **Наталья ЛАВРЕЦОВА**

*родилась в Петрозаводске.*

*Окончила Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова,  
позже Высшие Литературные курсы.*

*Автор пяти книг.*

*Лауреат Международной Пушкинской премии (Нью-Йорк),  
премии карельского писателя Бориса Кравченко,  
премии «Иван Виноградов — духовный витязь России» (Псков).*

*Печаталась в журналах «Север», «Карелия», «Двина»,  
«Русская провинция», «Москва», «Согласие», «Новый мир» и др.*

*Член Союза писателей России с 1994 г.*

